СТАЛЬ
БРОНЕВОЙ • БРОНЕБОЙНОЙ • ОГНЕСТОЙКОЙ • ЛЕГИРОВАННОЙ
ЧУГУЕВ
МОГУТОВ
УГЛАНОВ
МАШИНЫ «ГОЛИАФЫ» И «МАМОНТЫ»
СЕРГЕЙ САМСОНОВ
ЖЕЛЕЗНАЯ КОСТЬ
ЛУЧШИЙ РОМАН 2014 ГОДА
(ЛЕВ ДАНИЛКИН, "АФИША – ВОЗДУХ")

Сергей Анатольевич Самсонов

Железная кость

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10390145
Железная кость: РИПОЛ классик; Москва; 2015
ISBN 978-5-386-08266-6

Аннотация

…один – царь и бог металлургического города, способного 23 раза опоясать стальным прокатом Землю по экватору. Другой – потомственный рабочий, живущий в подножии огненной домны высотой со статую Свободы. Один решает участи ста тысяч сталеваров, другой обреченно бунтует против железной предопределенности судьбы. Хозяин и раб. Первая строчка в русском «Форбс» и «серый ватник на обочине». Кто мог знать, что они завтра будут дышать одним воздухом.

Содержание

I. Дети чугунных богов 5
Фамилия рода 5
1 5
2 8
3 11
4 13
5 16
Братья 21
1 21
2 22
3 24
4 26
5 29
6 32
Осада 34
1 34
2 35
3 36
4 38
Гу-гуг-г-гель! 41
1 41
2 43
3 46
Раскол 51
1 51
2 54
3 55
4 57
5 59
Обратная тяга 61
1 61
2 65
3 69
Отец 72
1 72
2 73
3 75
4 80
II. Стальной автократор 83
Могутов – 5000 83
1 83
2 88
3 93
Конец ознакомительного фрагмента. 97

Сергей Самсонов
Железная кость

© Самсонов С. А., 2015
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015

I. Дети чугунных богов

Фамилия рода

1

Чугуев навсегда запомнил день, когда отец впервые взял его с собой на завод. Как все в цеху мгновенно озарилось едва переносимым солнечным свечением расплава, когда открылась лётка и рванулась безудержная магма на свободу, и как метались доменщики с длинными баграми, с бесстрашием привычки бросаясь на огонь и управляя этой рекой с непогрешимой выверенной точностью, заставляя разбиться ее и потечь по проложенным в чистом песке желобам, и как он сам в себе почуял распускавшуюся огненную силу, и как это чугунное пламя, которому он причастился, стало кровью вообще всей советской земли, всего мира – никогда не могущей остыть и катящейся только туда, куда ей приказали вот эти всесильные, обыкновенные, диковинные люди.

Завод стал для него единственной сказкой, таинственным влекущим миром превращения уродливо-бесформенного первовещества в законченные прочные литые человеческие вещи, которые нельзя сломать и израсходовать в пределах целой жизни. Там, на пространстве, невмещаемом в рассудок, ярился и ревел протяжный зверь подвластных человеку колоссальных сил природы; там можно было увидать живое, дышащее солнце, туда, прямо в солнце, в бездонную жрущую глотку, ты мог швырнуть за хвост придушенную крысу и увидеть, как она сразу разрывается и от нее не остается ничего.

Огромны и полны высокого значения были люди, соединявшие чугун и пламя воедино, и самым главным великаном среди них – отец, хотя, конечно, были все они черны, в маслах и копоти и плохонько одеты, все сплошь в обтерханных фуфайках и разбитых сапогах, беспрерывно курящие и плюющие темной слюной, состоящей из шихтовой пыли, набившейся в легкие за истекшую смену – и за всю проходящую жизнь.

По эту сторону ворот сталеплавильного могутовского царства был тесный мир барачного поселка – дощатых стен, отхлестанных дождями и ветрами до седины, серебряного блеска; подслеповатых лампочек на голых проводах, железных бачков с кипяченой водой, застиранных линялых парусов, вздувавшихся и хлопавших на бельевых веревках во дворе, нехватки дров, обманчивого чувства горячей тяжести в желудке после тарелки пшенной каши или постных щей; чадящих примусов, цветастой занавески перед родительской панцирной кроватью, пошитых матерью из байкового одеяла шаровар, окаменелых залежей дерьма в отхожей яме под щелястой будкой, черного хлеба, чуть присыпанного сахарным песком из размозженной грязно-белой головы или пропитанного золотым башкирским медом, – единственного лакомства чугуевского детства; общих длинных дощатых столов, сдвигаемых для свадеб и поминок вместе под открытым небом, отскобленных ножами и окаченных чистой речной водой из ведра, гор дымящейся белой картошки, помидоров, прохваченных солью до жил сердцевины, самогонных бутылей, налитых молочным туманом по горлышко, заунывных, звенящих острожной тоской, слезно-жалобных песен уральских старателей, каторжан и разбойников и напористо-яростных новых, советских… уже вот-вот должна была возвыситься и воцариться от конца до края над землей, уничтожая, вымывая из человеческого слуха все другие голоса, на смертный бой зовущая единственная песня.

«Вставай, страна огромная!..» – вот этот голос, сплавленный из прорвы отдельных воль рабочих и крестьян, потребовал от комбината ежедневных рекордов по выпуску броневого листа.

Он, Толик, тоже – хоть и был по современным меркам освобождающе, неосудимо мал – встал в сорок третьем в строй к станку обтачивать болванку минного снаряда: брызгала стружка, извиваясь блещущей лентой; гладким сиянием начальной новизны показывалась сталь – головкой смертоносного ребенка между ног неутомимой и неистовой роженицы.

Все это делалось вдали от торжищ выставочных митингов, велеречивого вещания партийных воевод – упитанных и бодрых как раз потому, что они не пехота, не рядовые комсомольской, подростковой, стариковской и женской трудармии уральского металлургического тыла; вдали от повторенных миллионы раз «Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза и ее великий вождь…» – Чугуев сызмальства и накрепко вознелюбил «людишек на бумагах», «конторских крыс», трибунных болтунов – всех, сроду не производивших ничего, кроме библейских кип отчетов и воззваний, но получавших калачи и сливочное масло в доступных только высшей расе спецраспределителях.

Вечно полуголодные (выдавался кусок провонявшей селедки и по двести граммов черного хлеба по карточкам, воровали которые по ночам друг у друга иные), изнуренно-больные, обтянутые по костям заскорузлой брезентовой кожей, тыловые рабочие люди с угасавшими от недосыпа глазами и кованными вместе с оружием руками исполняли все молча и с остервенением, понимая: теперь можно строить одни самолеты и танки, за танковой броней с бронебойными снарядами в стволах наших людей так много убивать не будут, нельзя такого допустить, чтоб наших убивали слишком много.

И всегда так: работа, которую ты должен делать, потому что никто за тебя ее больше не сделает, – расшатаются, выпадут все железные скрепы, все сваи, на которых стоит справедливость и сила всех русских. Лишь когда люди стронулись и цехами поехали из бараков в квартиры – лишь получив возможность сличать разные уровни материального достатка, он, Анатолий, стал осо знавать ту нищету как нищету, ту проголодь – как нечто ненормальное и унизительное даже для трудового человека, а не единственный возможный способ бытия. То есть желание удобных комнат, мягкой мебели, горячих ванн, белого хлеба с колбасой, кожаных бот на каучуковой подошве (а не брезентовых на деревянной), путевок в Крым по профсоюзной линии могло возникнуть только после главного и общего железного. Вот сперва броневые листы, а потом уж комфорт. Он, Чугуев, иными словами, считал, что надо только добросовестно, всей своей силой вкладываться в дело – и постепенно будешь родиной за то вознаграждаться, получать по заслугам за отданное.

Двунадесять колен его предков, земляных и уперто-живучих, пахали и сеяли, молча гнули хребты на помещика, воевали, забритые в рекруты, брали приступом Плевну для «Царя и Отечества», хоронили младенцев и сходили с земли, как трава… и так, пока не просияла Революция, освобождая темных, несознательных, им говоря: настало ваше время – не исчезать безмолвно и бесследно, будто и не было вас вовсе на земле; вам построить своими руками себе все, что вы захотите, и оставить все, что захотите, на глобусе; вам построить страну на началах справедливости, собственной правды… И отец подорвался от сохи в областную Самару, пятнадцати годов, в единственной посконной рубахе и лаптях.

Не то чтобы город тянул его к себе с неодолимой силой – скорее, родная деревня выдавливала, как злая мачеха непрошеного пасынка из дома, а может быть, наоборот, как мать, что всей остатней силой тужится дать жизнь упершемуся плоду и умирает, обескровев, с первым криком освобожденного ребенка. Голод, голод толкал переменить свои семь десятин и остающуюся после продразверсток горстку хлеба на дым и грохот зачинающейся в муках индустрии, на гарантированную пайку и потравленную машинным маслом и мазутом землю. И он пахал, отец, все явственнее слыша в лязге и рокоте станков пульс становяще-

гося будущего, которым может управлять освобожденный пролетарий, и вот когда уже проникся в должной мере пониманием себя как частицы рабочего класса, завербовался вместе с сотнями других на стройку нового сталелитейного завода на Урале. Двести тысяч крестьян и рабочих раскачались, корчуя себя из отцовской земли, и ручьями и речками покатили в Могутов – неведомый город, про который им всем говорили так, будто он уже существует, в то время как его на самом деле еще не было.

Была одна сплошная выжженная степь, без края простиравшаяся ровно и глядевшая на человека так, будто никакого еще человека не появилось в этом неподвижном, мертвом мире и не должно было явиться никогда. Была одна великая река, делившая сплошное тело родины на два материка, была казачья глинобитная станица Могутовка – десяток съеденных степным простором хуторов, разбросанных в степи и жмущихся к подножию горы, была сама Магнитная гора – родящая на километры вглубь неразработанную прорву магнитного железняка на сшибке осадочных известняков с низверженным гранитом. И не было у этих двухсот тысяч поселившихся в землянках голодных и холодных почти что ничего – только голые руки с лопатами, ломами и каелками и безмерно живучая, вне рассуждения, решимость исполнить то, что им поручила абсолютная сила – Коммунистическая партия большевиков Советского Союза.

Рос в глубину и ширился уступами великий котлован – лопата за лопатой, грабарка за грабаркой, и пока двести тысяч Чугуевых с остервенением вгрызались в кремнезем и пригибавшиеся в жилистых ногах от тяжести верблюды несли распиленные бревна на горбах к подножию Магнитной – три миллиона золотых рублей, отлитых из драгоценной утвари разгромленных церквей, перетекли из недр Гохрана в частные хранилища немецких Круппов и британских Трайлоров – за пневматические молоты и башенные краны, электровозы, думпкары, бурильные машины. Привыкшие к горячим ваннам и крахмаленым рубашкам инженеры компании «МасСее», штат Кливленд, прибывшие в страну большевиков вести проектировку металлургического города, с брезгливым ужасом и сладким, самолюбивым состраданием смотрели на параллельную и несомненно тупиковую ветвь человеческого рода: в то, что безграмотным, безумным, узколобым этим русским удастся здесь, в Siberia, выстроить машину, неверие их не содержало грана посторонних примесей. И наблюдали человечески необъяснимый переход землепашцев с червячьей на вторую космическую: «в темпе, посильном раньше лишь для разрушения», бригады Варочкиных, Климовых, Чугуевых без остановки вырубили первые шурфы и отвалили первые пудовые отломки словно ржавой от крови руды с невиданно высоким содержанием чистого железа; воронкой подземной башни, возводимой не ввысь, а в глубину, разросся циклопический карьер – впервые в мире горная добыча повелась открытым способом. Отец потом рассказывал Чугуеву, как Сталин присылал в Могутов своего безмозглого кавалериста Ворошилова, и Ворошилов палкой, как шашкой, указывал дрожащим инженерам: «рубите штольню в данном направлении», и им пришлось рубить и вынуть из горы сто метров каменной породы за неделю: обязанность немедля предъявить правительству СССР плоть своей правоты и полезности родине придала им выносливость землеройных машин – Климент забрал с собой в Кремль полдюжины кусков магнитного железняка и положил на стол беспримесной правдой перед Сталиным.

Наемные британцы, немцы, янки завороженно вглядывались в мощно дышащую пропасть – шестидесятитонные дробильные машины Трайлора монтировали с помощью одних лебедок эти безумные, белогорячечные русские, не дожидаясь, пока башенные краны в трюмах пароходов переплывут через Атлантику; в Берлине, Лондоне, Нью-Йорке, Сан-Франциско всем стало видно странное свечение на Востоке – алтарные отсветы первых могутовских плавок. С вершин Магнитной открывалась ошеломляющая беспредельность умной жизни; дышала там, не помещаясь в окоем, и клокотала вулканическая лава, надежно заклю-

ченная в динасовые стены и неразломные стальные кожухи и хоботы, распределенная по уйме отводящих желобов и рвущаяся к небу косматыми столбами фиолетовых дымов и языками, мускулами пламени.

Спрессованный из яростной несмети выдохов и хрипов, протяжных и прерывистых гудков, неявный колоссальный шум порабощающе валился в черепа, и вне плавильного дыхания завода ты лично более не мог существовать. Ручными бабами вколачивая сваи в промороженную землю, ты строил этот вот завод из ничего, из себя самого, своих жил и костей, но и завод тебя ковал и плавил непрестанно, и, не рассыпавшись в труху, ты начинал свое существование сначала – уже другим, стальным, огнеупорным слитком переродившегося человеческого вещества, изжившим узкий эгоизм утробы и перекованным по высшей мерке трудового послушания.

Пузатыми, окатистыми идолами вечно беременных, вечно рожающих богинь советского народа незыблемо торчали из земли и неприступно уходили в небо стоохватные, неумолимо воцарившиеся над Уралом доменные печи – выше Кремля и Дома Сов наркома, сами купол и небо, заключавшие солнце в себе. Сквозь слоновьи их стены был слышен подземный стон магмы: мне тесно, отпусти меня, вызволи, – и ты, подходя с пикой к лётке, своей рукой отворял кровь земли; явлением высшей воли веяло от домны, не идущим в сравнение с деревянной приземистой церковью и ночными коптилками отмененного Бога.

Крестьянский сын Семен Чугуев становился перед домной – мало сказать: причастным к этой силе, но разгоняющим ее и проводящим, ее вмещающим в себя. Постичь вот этот умный хаос, гудящий и кипящий в сочлененных конусах и трубах, им овладеть и вместе с тем служить ему, усиливать, так, чтобы все внутри печи не меркло, не слабело, не останавливалось, не закоченело, быть с этой домной, как с женщиной, и помыкать ее живородящим огненным нутром – вот что представилось ему единственной стоящей задачей. И то же веяние в свой срок так же безжалостно и чисто опалило его сына.

2

У девятой он домны, самой крупной и мощной на всем континенте, горбатится, чует лишнюю силу в натянутых мышцах спины и ручищ, когда каупер он переводит с Мишаней вручную на другую площадку, – цилиндрический кожух стальной над ячейками пышет остаточным жаром, пропекает ладони; когда в низких и тесных, как мамкина норка, перешейках технических кланяется домне; когда мастер Борзыкин за пультом командует: «Эй, Валерка, уснул там, на северной? Кто за буром там, ну?!» «Я Валерка!» – в горячем спокойствии направляет бур в лётку – заглубиться нажимом одним на длину ее всю – как до матки, достать до заваренной магмы, но вот плохо идет, в мерзлоту будто вечную хером, распиковка вручную нужна… поднажали, открыли – ломанулся чугун, затопить все пространство под ногами в кратчайшее дление способный, и воюет Валерка с чугунной рекой, густо-алой сияющей лаве не давая хлестнуть за края желобов, в берегах понуждая держаться.

В неподъемном глухом прибивающем гуле печь пустеет до дна, сдав чугунную кровь и малиновый шлак в подведенные ковшики. «Закрываем!» – Борзыкин разевает пасть в крике, и Мишаня изогнутой пикой сбивает перевал на своей стороне, и Валерка подводит к зияющей лётке гидропушку с полуторатонной глиняной бомбой. Вот и кончена смена, на загрузку бригада Долгушиных – близнецов и их деток, таких же с лица одинаковых, – заступает заместо борзыкинской. Доломит раскаленный, хоть и пеплом подернулся, обжигает ступни сквозь подметки, и из цеха они – в раздевалку, под душ; прокопченные дымные комбинезоны отстают, словно кожа; топчут плиточный пол – голых тел самый полный сортамент: худосочных, с просвечивающей через кожу решеткой ребер; располневших, с наплывами на боках жировыми; мускулистых, литых, толстошеих, безволосых, заросших жестким воло-

сом сплошь. Из кабинок друг дружке через стенки кричат, у кого есть охота: «А сифон-то ни к черту!» – «Что ж затворы опять не проверил? Ну а газ рванет – что? Все на воздух и в рай?» – «Не, нам рай не положен». – «Ну а что же нам – ад?» – «Ну так ад нам чего? Ведь курорт после домны». – «Ад, он выше, над нами, а мы тут не горим»… И в поток первой смены вливаются, все в гражданке уже, в олимпийках и трениках, кто в костюмных брючатах и рубашках цивильных, а навстречу вторая им смена валит.

На простор вырываются – небо сизое, хмарное, ледяное конца октября непрерывно меняет себя, оставаясь все тем же, неизбывным, глухим и незрячим, не знакомым с людьми; неизменный встречает их скудный пейзаж, если можно сказать так – «пейзаж» – про бетон и асфальт, про кирпичную кладку забора с узловатыми дебрями сизой колючки поверх.

– Власть на заводе-то меняется, слыхали? – по дороге к шалману, которого не миновать, Степа всех будоражит.

– Чего-о?!

– А хозяин вот новый какой-то московский. Что ли, банк. С потрохами купил, и директора скоро поставит нам нового. В общем, всех сверху донизу в управление опять непонятно кого.

– Это как? – пучит зенки Борзыкин. – Наши ж акции – нет? Трудовой коллектив и хозяин. Никакого ж собрания не было, никому мы бумажек своих не давали и вообще хрен кому отдадим.

– Вот ты дятел, Мартыныч! – взвивается Степа. – Нет, ты мастер хороший, нормальный мужик, но вот в этих делах – все одно что чугунная чушка, прости. Никому не сдавал, а вон Бурову продал. И Сашке Чугуеву.

– Так себе же и продал! Заводу! Для того вот и продал, чтоб акции на заводе оставить. Никаких чтоб извне. Все ж так сделали, весь трудовой коллектив.

– Ну ты дятел и есть. У правительства тоже же акции есть… У такого! Кремлевского! Половина завода у нас, а другая – у Чубайса в портфеле. Вот Чубайс нас и продал – встречайте хозяина нового.

– Что ж за время-то сучье такое? – плюется Борзыкин. – Ни о чем же таком раньше просто не думали. Есть задание, есть план – и вперед, как по рельсам. Все ж народное… чьими руками построено? Вот сама постановка вопроса смешная: а чье? Да мое! Вон его, вон его! Кто построил, кто пашет, вот тот и хозяин. А теперь – зао, шмао, а-о-хэ-зэ-тэ!.. И хэ-эр-жэ на выходе одно! Вот вскормили сучат на народные деньги! Тот же Сашка Чугуев – а кто он такой? Вот таким сопляком у меня под ногами, когда я тридцать лет беспорочно у домны. Да со мной Ракитин здоровался за руку! А теперь он на «мерсе», вон дом себе строит размером с силикатный завод, а работяги по помойкам побираются.

Не хотел, а ударил Валерку, попал: и привык уже вроде Валерка, что при нем постоянно имя брата полощут, и фамилию отца заодно поневоле, но кольнуло сейчас все равно.

– Ладно, ладно, Мартыныч, отваливай. – Мишка, будто почуяв состояние Валерки, старика обрывает: чего зря лишний раз парню душу мытарить? Сам-то вон он, Валерка: локоть к локтю с тобой, кирпичом в общей кладке, уже век, как срослись, словно эти, сиамские, жаром домны скрепленные-спаянные; разве ж он виноват, что брательник такой у него? Ну а батя, Чугуев Анатолий Семенович? Сам такому исчадию, надо думать, не рад. – А мы тут совещание акционеров проведем в сепаратном порядке, – на шалман, подмигнув, всем кивает – грубо сваренный из листового железа сарай, где толкутся уже мужики первой смены.

Водка крепко припахивает ацетоном и жженой резиной, но про водку со вкусом просто водки забыли давно – заскорузлые толстые пальцы сжимают хрусткий пластик стаканчиков и несут к жестким ртам, опрокидывают разом.

– А по мне, один хрен, – чуть подшипники первой порцией смазав, наконец-то Валерка свой мыслительный и речевой механизм с пробуксовкой в движение приводит. – Что мос-

ковский хозяин, что нынешний. Что Савчук был, что Буров. Все как рыба башкой об лед. Мы и так по полгода зарплаты не видим.

– А увидим – хватает на две поллитровки.

– Вот именно. Так что пусть хоть китайцы приходят. – Зло Валерку берет непонятное: прямо хочется даже, чтобы гикнулось все поскорее, окончательно, вдрызг, лишь бы так, как сейчас, не тянулось, беспросветно, паскудно. – Ведь и так уж на дне, так что хуже не будет.

– Ну даешь ты, могутовец! – Степа зенки выкатывает. – А завод как, завод? Что отцы наши строили?!

– А сейчас что завод?

– Да стоит сейчас, в смысле вот дышит! Буров хоть производство-то держит. А придет этот банк? Пустит все с молотка! Черным ломом, отходами, силикатной продукцией. Втор-сырьем за бугор. Разберет комбинат по кирпичику! Нас вот, нас, работяг, всех уволит под корень!

– Это что, целый город? Двести тыщ, что ли, всех человек, что вокруг комбината? Не бывает такого! В природе! – Мишка вправду не верит – все равно как к могиле его подвели и кивнули: ложись.

– А санация – слышал такое? Оборудование тупо распилить и продать – и на Фиджи с бабосами – тусоваться красиво! Вот что им, москвичам! Саранча! Я чего… надо грудью всем встать за завод, монолитом.

– Это что ж – за Чугуева?

– За Чугуева, да! За него вон, Чугуева! – на Валерку кивок. – Вот за этого – не за того. За самих вот себя!

– Это что значит «встать»? Есть вообще-то закон – кто считается собственник. Если все по закону, то что ж мы? Мы ж в законах ни в зуб все ногой.

– Да закон – как дубина, чтоб нас ей гвоздырить. Они ж сами себе его пишут, под себя, чтобы недра из России высасывать. Поросенок вот этот специально, чтобы людям простым не понять… – Степа чмокает воздух слюняво, с досадливым присвистом, показав им Гайдара пухлявого. – Ну а мы чего, а? Нас… а мы терпим? Вон шахтеры – молодчики: общей массой всегда за свои интересы, как штык, до Москвы всем Кузбассом доходят. Ну а мы чего, мы?! Тоже можем потребовать. Уважения, сука, к человеку труда! Ну, что скажешь, Валерка?

– А ему, может, сладко при порядке-то нынешнем, – поддевает Митяй. – Брат лопатой гребет все, что мы наварили.

Хмель чего-то не брал, и не чуял Валерка гудения крови в себе, ожидаемой радости высвобождения души из-под спуда. Он впахивал, а жизнь его не продвигалась никуда, так и застряв на личном унизительном безденежье и на позорной слабости, падении общего всего. Раньше ведь каждая загрузка, каждый выпуск, каждый забитый гвоздь и каждая проглоченная макаронина – все приближало время наступления на земле какой-то всеобщей, окончательной правды всех русских. А теперь, что теперь? Решили: то было неправдой, все советское, баландой для скудных рабоче-крестьянских мозгов, пустыми лозунгами только, чтобы некормленые рты законопатить? Ну хорошо. А что взамен? Пусть каждый работает сам на себя и получает по приложенным усилиям? Он сам, Валерка, первым в эти акции поверил – что станет собственником своего завода вправду, не придатком живым к своей домне, а ее настоящим хозяином, отольется ему его пахота в прочное будущее, в полновесный достаток и ровную сытость. А на поверку вышло что? Какие там проценты жирные на эти акции его с каждой сменой набегают? Жизнь сокращается бесцельно – это только.

Будто бы кто закупорил в Валерке, как чугунную лаву в печи, просящуюся выйти, разгуляться кипящую немереную силу, которую в себе с младых ногтей он чуял, употребить ее способный с равной страстью на созидание и на слом, лишь бы какую точку приложения показали. Так что этой вот вести о московских варягах, норовящих подмять под себя ком-

бинат, отупевший Валерка скорее обрадовался – как возможности вырваться из непродышной трясины; сразу жгуче прихватывало у него в животе от одной только мысли вот об этом нашествии, о какой-то неведомой искре, что возникнет, конечно, на контакте могутовских с пришлыми, хоть какая-то в этом обещалась ему новизна, совпадавшая с самой сильной мыслью, что порою в нем вспыхивала: «Поскорей бы хоть, что ли, война началась».

3

Ни разу в жизни он, Чугуев, не посчитал себя никчемным человеком. Жизнь его смысл имела, вложенную цель. Вот надо только добросовестно, всей личной силой вкладываться в порученное дело – и постепенно будешь родиной за то вознаграждаться. И главное, все так оно и выходило: отец его, Семен Антипович Чугуев, насельник промороженной землянки и барака, стал знатным доменщиком и хозяином белокирпичного четырехкомнатного дома с яблоневым садом и шестью сотками под огород на правом берегу Урала.

Страна и партия обожествили сталеваров. Для металлургов строили высотные микрорайоны, универмаги, детские сады, кинотеатры, стадионы, дворцы культуры, санатории на крымском побережье, снимали мерку для отливки идолов громадного размера и хоронили вместе с красными эмалевыми звездами на плывущих за гробом кумачовых подушках. И это продолжалось, было, не тускнея: Могутовский металлургический, имени Ленина, орденоносный комбинат ежеминутно, круглосуточно давал прирост стальных артерий и броневого панциря страны; каждая пятая газопроводная труба, каждый второй встающий на вооружение Т-90Б, бронеусиленный, каждый четвертый новый рельс на всем пространстве от Норильска до Чимкента плотью были от плоти всесветно знаменитого их ММК, так что восьмидесяти тысячам могутовских рабочих с первых шагов по заводской земле и до кончины ясно виделось: здесь – центр Родины, ось мира, и ни один советский колосок не будет убран и искусственный спутник Земли не уйдет в ледяное беспределье без них.

И в трудовой и личной жизни Анатолия все совершалось, наступало с неотвратимостью написанного на роду и неизбежностью положенного по инструкции. Отец был для него как мерка и как выкройка: нет, речь не шла о том, чтоб повторить отца во всем, – такого и не надо, – но что касалось отношения к делу, к долгу, тут был отец непогрешимо верным ориентиром. Самим собой он, Анатолий, становился, только когда завороженно замирал над чертежом какой-нибудь машины, чьи устройство и принцип работы превышали пока что его разумение. Вот и пошел вальцовщиком на стан горячего проката – чтоб, переполнившись хищной радостью познания и несгораемой любовной жадностью к машине, смена за сменой отлаживать валки, без пресыщения и устали горбатиться в приямках и колодцах, перебирая становящимися зрячими, как у слепца, ошкуренными пальцами каждую вилку роликодержателя, каждую ось и втулку арматуры непрерывного качения, по щепоти соскребывая с них наросшие грязь и окалину, отшлифовывая и полируя, пока те вновь не станут такими же чистыми и сияюще гладкими, как при рождении, и какими должны быть всегда все узлы и опоры живой нежно-ломкой машины в сострадающих и берегущих руках.

«Женился ты на стане, Анатолий. Машину больше любишь, а не человека: всех за нее удавишь – надо будет», – говорили ребята в цеху. «Ну не тебя же, бестолочь ленивую, любить, – отвечал он на то шутнику. – Ты сам себя прокормишь, а машина без человека при себе не обойдется».

Стан подавлял громадными размерами и совокупной расчисленной мощью, но только каждая деталь в нем по отдельности была настолько беззащитной и слабой, что он, Чугуев, вздрагивал от внутренних ударов ревности и страха, как только видел, как увечится она обезьяньими лапами равнодушных невежд. Бывало, только стук какой неладный, плаксивый визг и пробуксовывающий хруст ему послышится в железных сочленениях, как сразу весь

он превращался в скручивающую жалость и нетерпение вы явить дефект, который лишь при остановке выявлен быть может.

Так что, пожалуй, даже странно в самом деле, что в нем, Чугуеве, любви хватило и на бабу. Надо было нести через время фамилию рода, с отцом они шутили, что вот он, мол, тот редкий случай в бытии, когда «надо» уже целиком совпадает с выпирающим из штанов «хочется». Был он при том не то чтоб робок и стыдлив, а как-то неудобно неуклюж в общении с женским племенем и, говоря с какой-нибудь девчонкой, всегда имел такое чувство, будто бы он сдает экзамен по немецкому, – невнятно ныл «пык-мык» и добро, смирно улыбался. Вот не было в нем этого нахрапа, вальяжной наглости мужской, и статью он не выделялся, был с детства чахлым, тонкошеим – ввиду, наверное, неважного питания в годы войны и продуктовых карточек, только потом стал прочным мясом обрастать, широкогрудой наследственной мощью наливаться, в каждой руке почувствовал пудовую кувалду – словно отец, Семен Антипович, в нем проступил со временем вполне, и вот уж все в цеху ребята расступались перед ним вполне себе завистливо-почтительно.

Невесту себе высматривал по преимуществу в цехах, средь крановщиц, учетчиц, калибровщиц, как деревенские высматривали раньше девушек в церквах. Все знали всех, за тонкой стенкой женской душевой звучали звонкие, неподотчетно зазывающие словно голоса, плиточный пол охлестывала струями вода – до первородной гладкости вылизывая ляжки визгливых заводских русалок, таких окатистых, округлых, налитых, на проходной даривших каждый вечер будоражащий запах своей чистой молодости – словно антоновского яблока и зимнего морозного, первоснежного, хрусткого, разудалого дня.

До тридцати трех лет Чугуев прожил бобылем – довольствуясь пунктирной связью с официанткой Маринкой, слишком охочей до транзитных пассажиров, чтоб можно было сладить с ней взаимовросшее существование до гроба. А дальше все устроилось руками одной такой вот бескорыстной сводни по соседству: под сокрушенные обрядовые причитания «такой мужик без дела пропадает» несколько связанных друг с дружкой женщин прошерстили обширный круг знакомых парикмахерш, швей-мотористок, продавщиц, библиотекарш и привели и вытолкнули замуж за Чугуева простую, скромную, неизбалованную девушку с застенчивой теплой улыбкой и ясными зелеными глазами. Ну не то чтобы прямо уж так и свели, словно бычка и телку за рога, а вот без них, без этих кумушек-подружек, самой бы встречи не было вот этой, и так бы весь свой век и проходили они с Марией по дорожкам параллельным, друг дружку не найдя в людской несмети, что ежеутренне запруживает улицы.

Он поглядел в ее лицо и сразу ясно понял значение встречи, важность, долг не потерять, не променять, не выпустить вот это счастье скользкой рыбиной из рук.

Шестнадцати годов Мария подалась в райцентр из оренбуржской своей маленькой деревни, оторвалась от мамы, от отца – инвалида войны, принужденного переучиться делать все одной левой, так как из-за гангрены выше локтя отрезали правую, – закончила с отличием педучилище и переехала в Могутов по распределению – воспитывать детишек на построенном заводом детском комбинате. Ей привелось вживаться в чуждую среду; по первости была она, конечно, большим Могутовом совсем оглушена – многоголосьем, спешкой, толчеей не знакомых друг с другом и не желающих знакомиться людей; держалась отчужденно, настороженно и строго, боясь на волю отпустить чистосердечную, доверчивую ясную улыбку, страшась ошибиться, быть кем-то обманутой. Ребята, жившие в соседнем от них крыле, пускали в окна женской половины солнечные зайчики, неугомонно зазывали ее, стыдливую, на танцы и в кино и, уж конечно, тонкие намеки делали на толстые, как говорится, обстоятельства, но эти все блудливые поползновения она, Мария, сразу пресекала, не то наученная мамой, не то самой своей природой наставляемая блюсти себя для настоящей жизни с мужем и не растрачиваться некрасиво и бесплодно.

После «смотрин», прогулок по бульварам, свиданий у гранитных идолов абстрактных сталеваров Мария стала понемногу оживать, в лицо ее, застылое, глухое, пришел светящийся, горячий, жадный сок, словно весной в нетвердые и чистые листочки, и все от макушки до пяток в ней отозвалось Чугуеву помимовольным пробуждением женской сути, так что спустя полгода дружбы они уже сыграли свадьбу как положено: с белой «Волгой», с поздравлениями начальства, с пристыженными лицами самих молодоженов, надевавших друг дружке обручальные кольца с таким выражением, будто вдевали нить в игольное ушко, с накрытыми в саду родительской усадьбы общими столами, с упорным, неотступным требованием «Горько!»… Со врезавшейся галстучной удавкой, Чугуев вставал и тянулся оструганной будто бы мордой к надушенному гладкому лицу своей чужой, неведомой жены – та поднимала на него тревожные глаза, смотрела удивленно-глупо и вместе с тем доверчиво-признательно, вот с этим чувством, что и счастьем-то нельзя было назвать, а просто начало сбываться у нее, у них обоих то, что заповедано от века и вложено простым великим назначением в любую дышащую тварь.

Через полгода у Марии стал расти живот, что взволновало Анатолия не меньше, чем предстоящий пуск отремонтированного стана, когда не знаешь, как завертятся валки и не дадут ли брака при прокатке, – с той только разницей, что от тебя тут не зависит ничего и нужен был ты только на одну, теперь уже далекую минуту, – и вместе с тем вогнало в немоту и отупение, в непонимание вообще, что должен он испытывать при новом состоянии жены.

Под новый год у них родился сын – четыре килограмма триста восемьдесят граммов, «богатырь» – после отсасывания слизи брызнул негодующим, непримиримо-требовательным криком, грудь брал охотно и сосал активно. Когда Чугуев взял впервые на руки Валерку, тот, до того спокойный и безгласный, наморщил личико в потешном озлоблении и заревел протестно-возмущенно, своим захлебывающимся плачем будто требуя незамедлительного возвращения на материнские, единственно приемлемые руки… а он, Чугуев, все глядел в беззубый рот вот этого родного червяка – не то совсем еще бессильного детеныша, не то уже беспомощного старичка, – и было чувство, будто сам родился еще раз, вмиг сделавшись на выходе из жениной утробы великаном, своим железным телом занимающим пространство бесконечное, как вся природа родины, и время беспредельное, как то, что начинается за гробом.

Валерка рос смышленым крепышом, с первых шагов тянул отца за палец к господствующим надо всем пространством жизни таинственным громадам комбината. Чугуев вел Валерку вдоль бетонных стен завода, как по огромному металлургическому букварю – все называл по имени и объяснял, как мог, доступными словами происхождение того или иного зарева и дыма, причудливое внешнее обличье и потаенно-скрытое устройство неподвижных и самодвижущихся будто исполинов; Валерка внимательно слушал и пил чистую воду знания голодными и ненасытными огромными глазами.

4

На четыре пятнадцать будильник поставлен теперь – вот по нынешней жизни паскудной – и взорвался в башке, дребезжит, выдирая из тьмы, из забвения всего, что коробит и гложет. И садится Чугуев на койке рядом с теплой, привычной, обмятой женой, из подушечной одури вырывается сразу, из покойного облака жара, что наспали с женой за всю ночь, и слоновьи ноги с кровати спускает, с полминуты сидит, провалившись в себя и простукивая изнутри свое днище, борта и к работе мотора прислушиваясь.

Ничего пока вроде не сбоит, не хрустит… в туалет шкандыбает, на кухню. Миску вчерашней, разогретой в ковшике лапши с размоченной в ней горбушкой зачерствевшей выхлебывает. Вдевает ноги в раструбы промасленного старого комбеза. И на дворе уже поежива-

ется от воздуха студеного. Дверь за собой закрыть на полный оборот – по новой жизни мало на щеколду. И Валерке в окно тарабанит настойчиво: фамильный дом они с Валеркой на две части поделили, в двух комнатах Валерка со своей гагарой обитают, в оставшихся двух и пристройке – Чугуевы-старшие. Ну сынок – что ж домкратом его подымать?

– Это что, уже утро? – Из окна голый высунулся.

– Ноги в руки давай, выметайся. Пропускаем разгрузку, балда.

Застучал, загремел, на одной ноге прыгая в брюках, спотыкнулся и полку с посудой задел – взорвалось, раскололось. И на двор – как ошпаренный, телогрейку натягивая:

– Не боись, бать, успеем. Самородного золота все равно ведь не сбросят ни сейчас, ни когда.

– Инструмент доставай, самородок.

Утра стали холодными, зябкими; все пожухлое, нищенски голое и пустое пространство природы – все деревья, кусты и трава, забеленные инеем за ночь, – стало чище, опрятнее, строже, с глаз долой убрались, уничтожились чавканье глины и уныние осенней распутицы.

– Бать, а если вот правда податься в старатели? – заблажил будто спьяну Валерка.

– Топай, топай давай. Счас те будет хита. Довели до хиты реформаторы – по помойкам заставили шарить на старости лет.

– Да ну, бать, ты и раньше ведь тоже по отвалу шорохался. И ведь не по нужде, бать, – из жадности. Ты ж как этот… как Плюшкин. Вот любую железку, ни винтика по пути не пропустишь – все в дом.

– Много ты, обормот, понимаешь. Я гараж себе весь из таких вот отбросов построил. Это ж огнеупор, вот шамот настоящий – нигде ни за какие деньги не найдешь. Стальные балки нержавеющие – с комель толщиной. Все оттуда, с отвала, – от пола до кровли. Заводу не надо, а мне пригодилось.

Он и вправду, Чугуев, не мог пройти мимо любого отброса промышленности – будь то хоть самый малый обрезок уголка или швеллера, будь то хоть истонченный до дыр жестяной лоскуток, что в руках уже крошится, словно высохший до сердцевины древесный листок, будь то хоть ржавый гвоздь, весь в бугристых наростах, похожий на окаменелость каких-то мезозойских эпох. Попадался как только такой ему сор, поднималось в нем чувство соболезнующей нежности к умаленной вещественности безымянных останков чужого труда. Каждая стертая в производительных усилиях деталь, каждый железный труженик, потерянный для пользы, молча просили из земли: верните нас, мы еще пригодимся, не хотим быть навсегда потерянными – и никто их не слышал, и только Чугуев мог и должен был дать каждой вещи еще одну жизнь, возрождение в первоначальном чистом виде и предназначении.

Пересекли пути многолинейного разъезда – в прифронтовой как будто очутились полосе: над колючей проволокой, дебрями ржавыми разве только сигнальной ракеты в вышине не хватает, озаряющей белым трепещущим светом простор. Не в первый раз они сюда, за линию, – знают, где пролезть. И пошли на растущий, напирающий грохот и лязг, и уже не одни – в десяти шагах тени маячат и справа, и слева, слышен шорох шагов в полутьме: много, много еще одиночек и семейных отрядов таких же шагают в одном направлении, вон туда, где, черней небосвода, подымается тяжко гора высотой с хрущевскую пятиэтажку, и как будто из недр ее всходят, прут и прут, нарастая, тяжкий гул и страдальчески-нудное пение тормозов и железных колес. Как проснулся вулкан – бледно-красное зарево над горой зачинается. Собралась уже целая армия из бредущих поврозь мужиков и артелек со своим инструментом. Лязг и звон наросли до предела, поманив работяг, намагнитив, и на бег сорвались уже многие – вот на приступ взять гору как будто. И Валерка рванул напролом самым первым, как подранок-кабан сквозь чащобу, сквозь стадо, мешанину бегущих людей.

Испуская пары, на исходном дыхании будто, проползает по гребню старик-тепловоз, волоча с вязким грохотом по невидимым рельсам налитые до краев густо-красным свече-

нием ванны – ну и все, тормозные колодки сработали, всех защитный инстинкт взял в тиски. Лишь Валерка один как ломил, так и ломит на штурм, по отвалу взбегает прыжками с ломом наперевес, полоумный.

– Стой, мудило! – кричат ему в спину.

И железной дужкой замка защемило Чугуеву сердце, и вобрал каждой по рой скрежещущий крен вагонеток и сброс многотонных глыб шлака – валуны покатились, запрыгали, хороня его вместе с Валеркой, расшибая все встречные глыбы и груды и раскалываясь сами, как хряснутый оземь арбуз, обнажая горящую мякоть и брызгая во все стороны огненным соком; разлилось вниз по склону, ветвясь, нутряное их пламя – исполинских ублюдков могутовских домен; канонада салюта отгремела и смолкла – никакого Валерки нигде не видать!

– Ну, Валерка, на этот раз все! Не прощается, крышка!

У Чугуева ноги не шли – из последним царем раскаленной, истекавшей дымами помойной горы вырос там вдруг, на склоне, хохочущий черт-антрацит: только бельма и зубы на оскаленной маске негритянской сверкают, встал на двух кучах шлака, расставив ноги циркулем на недоступной для живых высоте, и орет:

– Ваше – все, что пониже! А это мое! Наше, наше, Чугуевых! – И курочит уже глыбы ломиком, искровую пургу подымая, новый ворох за ворохом огненной пыли. – Мой костер в тумане светит… – разбивает, крушит, выкорчевывает.

Увильнул, увернулся, допущением безумным ведомый, что сможет всегда, целиком, до конца своей волей сужденное определять, – прыгнул живо в расщелину, втиснулся, словно в мамкину норку, перед самым обвалом грохочущих чушек и в ней, неприметной расщелине, сжавшись в комок эмбриона, прокатившийся поверху камнепад переждал. Может, не был бы крепок, как обжатый на слябинге слиток, так бы там и остался, прокатом продавленный вглубь, но что людям – кирдык, то метизам таким нипочем.

– Не горю я, бать, вечный! Мы, Чугуевы, – глыба, ничем не пробьешь… – И осекся вдруг, морда осунулась, стала мягкой, телячьей, не глыбой. – Ну чего ты, бать, че? Я же знал свой маневр.

Распрямилась пружина в Чугуеве, механизм невозвратный в движение по цепи приведя, и кулак – сыну в зубы, пока тот улыбался заискивающе. Уж на что был сыночек остойчив, а мотнуло его, как тряпичнонабитого. Просиял от отцовской прибивающей ласки:

– Вот как рельсом, бать! Тайсон! Так и надо мне, да! Это ж мало еще, ты мне дай, не жалей!

И уже они оба, как один человек, разбивают, ворочают глыбы в молчании. Продохнуть распрямятся – друг на друга не смотрят. Чуть Валерка копнет, ковырнет его взглядом – отводит, не стерпев ломового отцовского встречного. Вот как кошка воюет с собакой: чуть напрыгнет – и сразу отскочит, так и этот глазами. А вокруг копошатся вовсю остальные, расхватали делянки по склону и роются, позабыв о Валеркином воскрешении, как не было. И нет-нет и упрется чей-то штык в ископаемое: то в кирпич закопченный, то в обрезок стального уголка или швеллера, то в графитовый вдруг электрод, то в зубастую гусеницу – транспортерную ленту проклепанную, то в сгоревший электромотор, словно в череп бронтозавра какого, – вот сокровище-то! если с целой обмоткой, с накрученной медной проволокой! За черный лом дают копейки на приемке, а вот цветмет – по высшему ранжиру.

Шлакоотвал родной давно Клондайком окрестили: как новая Россия началась и сгорели в сберкассе все деньги, так и начали шастать сюда вот и лом производства откапывать, уж бригадами целыми, семьями превратились в старателей, жены приходили к горе с термосами и укутанными в одеяла кастрюльками – подкормить мужиков своих пищей горячей. Килограммы и тонны металла залегали здесь, в шлаковых недрах. Откопаешь вот рельс – и его на горбу в пункт приемки, расплодилось их, пунктов, немерено. Подфартит – за неделю сумму месячного своего заводского оклада из горы этой вынешь, горнового, вальцовщика, агломе-

ратчика, ведь зарплат-то законных месяцами не видят с тех пор, как Гайдар в телевизоре, поросенок, губами зачмокал: «дефицит», «волатильность», «инфляция». После смены сюда, выходные все здесь. Вот шурфы даже многие стали в горе пробивать, ставить крепи в глубоких забоях по всем правилам горного дела. Экскаваторщики уводили машины со строек и вгрызались ковшами в спрессованный, спекшийся шлак. Объявлявшихся на стратегическом этом объекте бичей, мужиков со всей области пришлых злобным лаем отваживали, поколачивали жестко порою, вбивая: вас тут не было, не проходило.

Груду черного лома на санях самосваренных тащат – как бурлаки на Волге это самое. Среди белого дня по своей родной улице – не привыкать, но порой все равно оживет и прихватит рабочее нутро на мгновение стыд: это ж ты, тот же самый, который на всю область гремел трудовой своей славой, скульпторам, было, даже позировал, прикрывая ладонью глаза, словно витязь в дозоре, – победитель социалистических соревнований и вершитель Истории… ну и вот на что жизнь извелась – не скрипел даже больше зубами Чугуев, словно стер их по жизни такой до корней.

5

И когда это все и с чего началось? Все же было в могутовской и советской всей жизни отлажено, заведено, как безотказные великие часы. Предназначение, вложенная цель им исполнялись с равномерным напряженным постоянством, и можно было любоваться делом рук своих и по дороге на работу, и с нее. Фотографическая карточка Чугуева – как знатного вальцовщика и неуемного творца рациональных предложений – прилипла к кумачовой доске рабочей славы комбината, и каждый год ему давали грамоты и каждый месяц – денежные премии. Двухкамерный был куплен холодильник Минского завода и черно-белый телевизор «Темп» с зеленоватым выпуклым экраном, в красивом корпусе из полированной древесно-стружечной плиты; вместо фанерного серванта встал во всю стену в зале ленинградский гарнитур; Мария жучила детишек в своем садике и все боялась, что не уследит за кем-то из вверенных ей тридцати несмышленышей – неугомонных, каждую минуту могущих за ее спиной сверзиться с качелей или дерева… Годы текли размеренно, нестрашно, словно катила свои воды мощная река, – спокойствие, уверенность и сытость были основными ингредиентами в химическом составе времени.

Ну да, не все, конечно, было так безоблачно: кого-кого, а уж его, Чугуева, корежило, как видел, что никто – от самого высокого начальства до вальцовщиков – не думает о состоянии механизмов и замене разношенной, усталой арматуры, бездарно повинуясь букве Государственного плана, гонясь только за новым мировым рекордом по производству чугуна и стали на душу населения. По дурости начальства, озабоченного лишь воплем-рапортом «исполнено!» наверх, по нерадивости и равнодушию невежд, желающих лишь кончить смену побыстрее и не блюдущих технологию совершенно, случалось так, что домны коченели чугуном и по цехам обрушивались фермы.

Видно, не мог все время человек жить в постоянном напряжении сердца и ума – быть вечно сжатым, как пружина, и не потребовать себе у самого себя хотя б минуты расслабления; другое дело, что вот это расслабление – попробуй только раз себя разжать – настолько приходилось иному человеку по нутру, что он и напрягаться больше не хотел, – так и работал в этом состоянии разболтанности страшной.

Тут еще вот о чем задумывался он – об убывании в человеке силы жизни. Не по себе еще судил, а по отцу. Когда Мария забеременела вновь – всего-то через год после Валерки, – отец на шестьдесят четвертом году жизни заболел: врачи нашли опухоль в толстой кишке; герой Соцтруда, знатный доменщик, сгорал ровно с такой же скоростью, с какой делились клетки, формировался костный мозг и личное неповторимое содержание будущего чело-

века, – первый призывно-негодующий захлебывающийся крик Чугуева-второго совпал с последней судорогой посиневших губ Чугуева Семена – родоначальника стальной могутовской династии.

Не останавливалась жизнь… Валерка пошел в первый класс и быстро вывел из себя учителей своим неугомонным буйством и непослушанием; не мог никак на месте усидеть, самый горластый в классе, самый исцарапанный. К наукам склонности большой не проявлял, зато к разного рода разбойничьим забавам – как то: плеваться жеваной бумагой через трубку, драться со всяким, кто желал и не желал, бить из рогатки голубей и кошек, мучить девчонок приставаниями «Машка-промокашка» – страсть приобрел неистребимую. Превосходивший сверстников воинственной наглостью и силой, заделался грозой школы и района – и наказанием для матери, измучившейся потуплять глаза на каждом родительском собрании. Что хорошо – к ремеслам вот тянулся, с прежней жадностью рвался за отцом на завод, так что Чугуев успокаивался, – не сомневаясь, что Валерка сможет в будущем держать на уровне солидную чугуевскую марку.

Родившийся на год позднее Сашка во всем старался старшему Валерке подражать – и в добром, и в дурном, но все же видно было, что Валеркины бесчинства не вызывают в нем, серьезном и прилежном, подлинного отклика. Самим собой он становился лишь за школьной партой, за сложной математической задачей или физической загадкой самой жизни, что занимала его въедливо-дотошный ум сверх школьной нормы заданного на дом. Учился хорошо и без натуги, но не в одной охоте было дело, а в странном самолюбии, которого Чугуев за собой не замечал и не считал наследственной чугуевской чертой: быть похваленным прежде других, награжденным щедрее других – вот какая потребность, казалось, вела его, Сашку, с первых классов по жизни. Он и дрался-то в кровь через день, вот и в секцию самбо пошел лишь затем, чтоб предъявить всем на районе пацанам выражение телесное, мускулы своего превосходства.

Сам он, Чугуев, рос по заводской рабочей линии, не отставать старался от летящей со скоростью ракетоносителя «Союз» советской инженерной мысли, прочитывал узкоспециальных технических учебников не меньше, чем бригадиры и начальники цехов, и неизменно в числе первых на заводе овладевал новым прокатным оборудованием. На стан любой его спокойно можно было ставить: на рельсобалочный и непрерывный заготовочный, на листовой и тонколистовой, на сортамент любой, на черновую группу и на чистовую. К сорокалетию получил седьмой разряд – самый высокий в сетке для вальцовщиков – и стал командовать не парой подручных, а уже целой бригадой; задания получал в заводоуправлении от инженеров персональные, и инженеры к нему всегда по имени и отчеству, и мастера цехов перед Чугуевым заискивали: «Смотри, Семеныч, что инженера удумали. Как – сделаем пуск к ноябрю? Надо, Семеныч! Можешь ведь – бог!»

Страной правил шамкающий Брежнев, своими «сосисками сраными» и отращенной по колено орденской чешуей в народе порождая разные глумливые потешки, но непосредственно в железно-беспощадной хватке комбинатского директора Ракитина весь Могутов работал, как часы на руке великана «Советский Союз», вырастая, размахиваясь, насаждая сады, возводя по округе все новые микрорайоны кирпичных и бетонных высоток, разводя в образцовых в подсобных хозяйствах коров и свиней, свежим мясом которых кормили сто одиннадцать тысяч рабочих.

Валерка кончил девять классов и пошел проторенной дорожкой в профтехучилище. Немного ошалевший от избытка силищи, литой, широкогрудый вырвидуб, он и лицом, и статью – всем напоминал Чугуеву покойного отца, разве что только тяга «к забегам небольшим в ширину» до того доводила, что малый то и дело терял берега, и ни одни воскресные танцульки во Дворце культуры металлургов не обходились, как зима без снега, без учиненного Валеркой побоища. То утешало, что в цеху работал он толково, разворотливо и ловко,

с той же захватчивой страстью, что и бедокурил, – только здесь вот, у домны, направляемый в нужное русло созидательной волей завода.

На пятьдесят девятом году жизни прямо во время совещания по селектору приварился ладонью к грудине и скончался казавшийся вечным всесильный Ракитин, вместо него Москва прислала нового – рекордсмена по бегу по красной ковровой дорожке, знакомого с железным делом только на бумаге. Через месяц московский засланец безмозгло поднял норму могутовской суточной выплавки, рапортовав наверх о шестисотмиллионной тонне к годовщине Октября, и через день на пятой домне с рельсов сошел и опрокинулся налитый до краев чугуновоз: моментальный чугунный разлив захватил под ногами бетон, прожигая, проваривая сквозь подметки и брюки сладковато запахшее человечье мясо, заискрила проводка, и бригада Валеркина заметалась с баграми и пожарными шлангами средь ручьев и столбов мускулистого пламени – усмирить половодье, сбить встающих по кровлю огневых великанов.

Ну авария, да, ну забыл человек на участке своей личной ответственности об изношенной цапфе, сговорился с собой, что стальная деталь еще выдержит. Да вот только все так и пошло теперь – вкривь, прорываясь бедой то там, то вот здесь, будто шел не по цеху ты, а по топи болотной, то и дело ступая на непрочную кочку. Он сперва не заметил, Чугуев, как людям вокруг впервые вдруг чего-то не хватило, а потом беспрерывно начало не хватать: разных деликатесов – утробе, не сытой одним только хлебом, рассудку – понимания: зачем жить так, как нам завещано, – то есть по принципу самоотдачи, в вечном поте лица, наживая горбы и мозоли и пожизненно не получая от родины что-то взамен, получая все время не ту колбасу, не имея машин, потому что их мало и все они до людей низовых не доходят (а по стали на душу населения – рекорды! по ракетам, по спутникам, по дивизиям танковым те рекорды, которые лично тебя не согреют), не имея удобных, просторных квартир, получая не те, не такие, не там… У людей появилось слишком много желаний, у новых поколений, не видевших войны, как будто жизнь, в которой вдосталь хлеба и налажена бесперебойная подача электричества, есть нечто само собой разумеющееся, нужно что-то еще, нужно много чего дефицитного.

По телевизору пошли сплошные заседания народных депутатов: высоколысолобые, очкастые, лощеные профессора и щелкоперы, трепеща от хищной радости, вещали, что у высших партийных начальников – осетрина в пайках и икра, а народ обделен, обворован, объеден и что, главное, «гласность» нужна – говорить, говорить… В общем, все так и шло: мы в дерьме, мы на дне, надо грянуть «долой!», надо «мыслить по-новому».

Незыблемо торчали из земли и подпирали небо изваяния изначальных чугунных богов, не сломать в одночасье такую машину, но как будто из домен, из станов выпаривались смысл, понимание, знание, зачем они, станы и домны. Сталеварам, исконным могутовским людям, сказали: ваша сталь не нужна, столько стали не нужно, броневой, бронебойной, огнестойкой, легированной, вы уже наварили с запасом на столетия вперед, и ржавеет она невостребованной, нам не скрепы стальные нужны, а жратва, вашей сталью людей, вас самих не накормишь.

Невидимые глазу безучастному, неуследимо, неостановимо множились очередные нарушения технологии, разбухали, спекались в давящий, не разбиваемый ломами монолит. Не хватать стало остро угля, что всегда шел в Могутов нескончаемым и непрерывным потоком – газожирный и жирный, кузбасский, стало нечем кормить батареи, и завод начал стопорить домны одну за другой, а что такое домна, которая закоченела чугуном, – это ж ведь не расскажешь, как нельзя рассказать с того света про смерть. Как без рук, как без члена, десятки бригад вдруг остались без дела – раньше пили по праздникам, с радости, после трудной работы, а теперь – каждый день, от давящего чувства, что некуда жить.

Остальные, как с виселичных табуреток, глядели на цепную реакцию остановок цехов и машин – на зигзаг черной трещины, что должна доползти до тебя не сегодня, так завтра, и тогда уже лично под тобой проломится. Деньги были еще, а на что обменять их из товаров питания и быта – хоть шаром покати; весь могутовский люд, озлобляясь, толкался и мерз на морозе в подыхающе ползших к прилавку свальных очередях; молодые мамаши приводили с собой в гастрономы писклявых детей, на руках приносили младенцев: «на ребенка» давали второй килограмм колбасы в одни руки, и еще одну тощую синеватую куру, и еще одну связку рулонов туалетной бумаги на шею. Винно-водочный брали на приступ, словно Зимний в семнадцатом.

Там Валерка был первый боец, в винно-водочном, – как Матросов на дзот, на прилавок бросался и с бутылками в лапах прорубался назад сквозь людскую халву, балагурил, юродствовал, потрясая добычей: мол, беру на себя обязательство троекратно превысить ежедневную норму потребления спирта. Человечьего облика все же пока что держался, но вот если и дальше продолжит в том же духе позорном – рассыплется, не собрать уже будет себя.

А вот Сашка, тот, наоборот, подымался стремительно в люди, подгадав угодить в восходящий поток самого будто воздуха времени; вот умом уродился непонятно в кого – это он, Анатолий, когда еще понял, и расперла Чугуева гордость, когда сын после школы протаранил кирпичную кладку огромного конкурса в Московский(!) институт(!) народного хозяйства им. Плеханова, выжал красный диплом и вернулся по распределению в Могутов – в синих джинсовых брюках и кожаной куртке, все такой же и неузнаваемый, причастившийся будто в Москве чрезвычайного тайного знания, недоступного темной родне и рабочему классу вообще, – будто меченый, избранный, навсегда оторвавшийся от изначального предназначения сталеварного рода Чугуевых, навсегда прикрепившийся к строю, отряду образованных высоколобых. Младшим экономистом устроился в плановый комбинатский отдел – высоко над землей, над цехами. Пригласили инструктором в заводской комитет комсомола, и по этой вот линии комсомольской пошел вверх и вверх. С кумачовой трибуны перед массой одно говорил – ну, «да здравствует…» там и «крепи…», а вот дома – диаметрально противоположное. Что завод их великий – давно живой труп, динозавр умирающий, просто слишком большой, чтоб увидеть, что он умирает; да и что там завод? СССР целиком – тот же самый начавший подыхать динозавр, скоро гикнется все, экономика плановая, и начнется такое, что и самой мощной башкой не постичь, а не то что чугунной чушкой рядового могутовца.

И ведь вправду теперь каждый день начинался с «чего там, в Москве?», с понимания, что уж куда-то совсем не туда прет клейменный чернильной кляксой комбайнер ставропольский… Новый год был какой-то совсем не такой, бой курантов похож на обратный отсчет… И вот на тебе! Грянуло! Всю страну и Могутов, словно мамкина норка, накрыла реформа, выводившая из обращения сторублевки с полтинниками, и рабоче-крестьянские полчища осадили сберкассы, безнадежно давились, продираясь к приходно-расходным бойницам, – ничего уже больше не держало Чугуевых в покупательной силе, все двенадцать их тысяч, что скопили за жизнь, отсекли от них, словно стальным полотном, перемычкой стеклянной в окошке сберкассы.

Через сутки Чугуев свихнулся от стыда, суеверного ужаса, став опять богачом, невозможным, – это Сашка, уехав в Челябинск дней за пять до начала «всего», начал слать им оттуда переводы из разных отделений почтовых. Будто лично ему кто-то прямо из Кремля позвонил, из Минфина. И ведь знал, голова, как все можно сберечь до копеечки, – вот как раз переводом почтовым, – позвонил по межгороду: мама, требуй выдачи только червонцами. В извещениях желтых картонных были бисерной прописью страшные суммы – пять тысяч рублей! и умножить на пять! а кому вот еще, кроме матери с батей, если он высылал переводы такие же? Это что ж за зарплата такая, откуда? Двести двадцать же эр у сыночка оклад. Аж с рычанием на сына по приезду набросился: это где ж заработал ты столько, сколько мы

всей бригадой за год не подымем? И услышал в ответ: бизнесмен я, ты понял? Ну а как ты хотел? Это вам, извини, к подаянию не привыкать, а я жить хочу так, чтоб иметь эту жизнь, чтоб она подо мной прогибалась, а не я чтоб под ней.

Нет, ничего уже не понимал Чугуев в новой жизни, в прибывающей быстро воде, проломившей и вырвавшей все стальные затворы всесоюзных плотин. Обесценивалось все: могутовская сталь и человечье усилие по производству несгибаемо-прочного изделия, исполинские идолы прежних богов и погибших героев, проржавевшие кости под домнами-жертвенниками, русский пласт чернозема, торжество покорения открытого космоса, беззащитное детство, рабочая старость, и фамилия рода, и имя отца, и значение родины в целом.

Хорошо воевать с ясно определенным врагом, знать, откуда ударит, и паскудно – страшиться неизвестно чего, день за днем изнывая от пытки пустотой неизвестности: что там дальше готовится вслед за мгновенным обнищанием масс, за порожними полками гастрономов и универсамов. Может, кончится хлеб вслед за мясом и маслом – ведь опять легли в руки народу продуктовые карточки. Ничего не осталось в химической формуле времени, кроме чистого страха, страх стал воздухом будущего, страх стоял по глаза. И паскудней всего было то, что ты сам, вроде сильный, не старый еще, ничего тут поправить не можешь и не годен вообще ни на что. Только рыскать и грызться в помойке за кусок пропитания – вот к чему свелись жизнь, назначение их рода и чугуевской личности.

Братья

1

Водитель Коля подогнал к крыльцу заводоуправления «Мерседес» – Чугуев влез на заднее господское и двинулся по своему металлургическому городу: четвертый год уже, а все никак не мог привыкнуть к ощущению: неужели вот «он» – это я? Это я и никто другой больше стал в неполные тридцать самодержцем всех этих восьми тысяч гектаров углеподготовительных, коксовых, доменных, кислородно-конвертерных, сталепрокатных цехов, агломерационных двух фабрик, сортировочных станций, газгольдеров, ступок теплоцентрали и восьмидесяти тысяч живых крепостных сталеваров… пусть теперь и стоит половина египетских по размеру и мощности домен, мертво закоченев чугуном изнутри, – как брюхатые идолы древнего племени, чье имя никогда не будет произнесено и письмена на каменных боках болванов – расшифрованы.

Шансы его, Чугуева, стать кем-то кроме того, кем было предначертано, изначально равнялись нулю. Вранье, когда вздыхают о лифтах социализма, способных вознести детей простолюдинов под рубиновые звезды; сперва, конечно, было еще можно, на заре прекрасного и яростного мира, до претворения в реальность плана ГОЭЛРО, взмыть в академики, в министры – из горячего цеха, от черных котлов, но к рождению Саши лифтовые кабины вмерзли в лед низовых этажей, остались нарисованные двери; дети рабочих и крестьян вставали с малолетства к фрезеровочным станкам на основных для них уроках трудового послушания, чтоб простоять за ними будущую жизнь и передать мозоли по наследству. «Ломоносовский тип» отличался от чернорабочих дебилов только локализацией и природой «мозолей» – на подушечках пальцев и под лобной костью: жрали то же, оттуда же. Высоко над землей жили отпрыски красных князей – у этих было все: спецшколы с преподаванием предметов на английском языке, черная «Волга» с молчаливым холуем-шофером, синие джинсы с медной молнией в ширинке, по папиной «вертушке» заказанное место в МГУ или МГИМО… А были еще выродки директоров универсальных магазинов, начальников отделов маннонебесного распределения и сбыта, главных врачей и главных инженеров… И только потом, подо всеми – Чугуев.

Жизнь коротка, настолько, что сил хватает на один рывок: дед вырвался из хаты на завод, в барак, орденоносцы и в могилу, отец – в частный дом с огородом, Валерка, старший брат, – по рельсам проложенной отцом одноколейки, с досрочным перевыполнением нормативов и пенсионным подаянием на дожитие.

С первых, казалось, проблесков сознания Саша понял: он другой. Нет, не умней, не даровитей, не сильней всех окружающих могутовских детей – дело не в этом, главное не это. Он ненавидит предопределенность. Вот до сих пор не знал, откуда в нем подобное взялось: как все, пионерскую клятву давал, как все, намеревался стать пожарным, летчиком-полярником, как все, смотрел на собственного брата с восхищением, завистливо и безнадежно силясь во всем ему, Валерке, уподобиться. Руками могущий гнуть гвозди, антоновские яблоки давить в сочащуюся смятку, немного сам как будто изумленный избытком даровой врожденной силы, Валерка был кумиром главным на районе, и девки все к Валерику магнитились – к его грубо-красивому, тяжелому лицу, к осклабу белозубому каленому, к нагло-веселым плутовским глазам, умеющим вклещиться и не отпускать добычу, вот прямо обмиравшую в предчувствии эротического чуда, – а он, Чугуев-младший, рядом с братом приобретал прозрачность пустоты, настолько его все не замечали. Все время ощущал непокрываемую пропасть превосходства, полученного братом при зачатии задарма. Пока не зали-

пали оба на одну, еще ему дышалось как-то, Саше, но вот хлестнула их обоих по глазам безумная, кривая сила женского начала – вот эта девочка, меняющая улицу, погоду… и, не колеблясь, сразу же к Валерке подалась… о, это ошалелое от счастья Натахино горячее лицо… А он остался, Саша, на обочине отбросом, плевком в каблучной вмятине, окурком, растертым по асфальту братским сапогом. Не совладать, не заселиться, не втолкнуться туда, где тебя не хотят. Но жило в нем неубиваемое убеждение, что сможет он, не нужный, отбракованный, за счет других достоинств извернуться – за счет проворного и гибкого ума, за счет терпения, за счет чугунной задницы – и не мытьем, так катаньем взять над Валеркой верх и, уж само собой, надо всеми остальными… себе такой добыть удел, что эта девочка будет кусать подушку по ночам, не понимая: как же проглядела, не на того поставила, купившись на бессмысленную стать, на эти мускулы стальные и прищур непогрешимый – пустозвона, болванки, из которой ни капли загаданной жизни не выжать.

Теперь все это было даже не смешно, и удивлялся Саша, как могло это ничтожное – «не любит девушка», самцовое самолюбие – так его жечь и даже прямо делать его несуществующим. Теперь он жил во власти, ни с чем не сравнимой по силе, изматывающей, пыточной власти над самым большим в Европе циклопом стальной индустрии, и ни на что другое, что поменьше, – вроде любви и прочих человеческих «хочу» – сил у него уже не оставалось.

2

Родной порог переступил – и ничего не понимает: Натаха у стола, заваленного яствами, как подожженная шарахается, вьется. Как самобранку перед ней кто расстелил: пузатые, фигурные, резные, с винтами, с пробками хрустальными, бутылки, по горлышко налитые багровыми и золотыми пойлами заморскими, колонны, монументы, глыбы окороков невиданных, икра – белужья черная и лососевая красная, поленница из палок копченой колбасы с сургучной печатью на бечевке, вот просто рай мичуринский граненых ананасов, стыдливых персиков, огромных апельсинов, с крокодила размером осетр и арбуз со слоновью голову, перевязанный ленточкой розовой, словно новорожденный в роддоме.

– Это откуда прилетело… – хрипнул, – все?

– От брата, брата твоего, «откуда»! Сашка завез, пока вы с батей на свалке шуровали. У тети Маши завтра ж день рождения, забыл? Ну и теть Маша к нам вот это все – ну чтоб Семеныча не злить, то-се там, все дела.

«У нас вон горб растет, а у него карман», – хотел Валерка рявкнуть с голоса отца, но придушило что-то в нем привычную, автоматически рванувшуюся злобу – угрюмо зыркнул и расшибся злобным чувством о полыхавшее Натахино лицо: жена сияла, ожила, тугой, звонкой сделалась, как струнка, какой ее, сказать по правде, он не видывал давно: синющие глаза горели ведьминским огнем – не нищенская бабья радость полыхала в них, не жадность, а предвкушение перемены участи на новую, другую.

Вот этого как раз Валерка и не мог – жизнь повернуть, судьбу переломить, такую жизнь построить самому, в которой все у них наоборот с Натахой будет и прекратят тянуться дни бетонные, пустые, в непрерывно сосущей тоске, в непрерывном насекомо-ползучем выживании впроголодь.

– А что? И угостимся! Нормальной водкой в кои-то веки, а не паленкой этой ацетоновой! – Собою не командуя вполне, бутылку ледяную сцапал со стола. – Чего там нам брательник от щедрот? «Финляндия Сранберри», ух ты ж! – с погано извивавшейся ухмылкой покачивал бутылку на ладони – не то сейчас об стенку ею хрястнуть, не то одним движением голову скрутить и, раскрутив винтом, в раззявленную глотку опрокинуть. Впилась меж тесных ребер и протискивалась в глубь Чугуева обида, а еще больше злоба его жгла – на самого себя, бессмысленно здорового, настолько дюжего, настолько и никчемного, и вот уж

сам за раскаленный прутик взялся – сам у себя внутри пошуровать. – Ведь это счастье, а, когда такой брательник! Сила! Вагоны с чушками гоняет по карте мира, как по этому столу! С такой головой! Не пропадем! Придет и вытащит родного брата из говна! И ничего за это не потребует взамен! Ведь голос крови, да?!

– Ну что ты так, Валер, все выворачиваешь? Ты это брось. Уничижение паче гордости – это сейчас, Валера, про тебя. А ты ведь можешь, тоже мог бы у меня…

– Чего я мог бы?! Что я могу такого, а?!

– Ну, вслед за Сашкой, с ним, при нем вот как-то. Вот если б с самого начала вдрызг не разругались… – взяла опять электродрель и двинулась по миллиметру в глубь Валеркиного черепа. – Ведь мог бы он тебя… ну как-то подтянуть. Работу дать…

– Какую?! Человеческую?! А что, моя уже не человеческая, да?! Это теперь у нас барыга – человек? Или в охранники к нему, хозяину завода, в бандюки? Свой лоб под пули за него, уж если сам умом не вышел?

– А как сейчас горбатиться в две смены? Бесперспективно, Валерочка. Душно, болото.

– А, ну конечно, да! Красивой жизни захотела?! – ощерился на скатерть-самобранку. – Как белые люди? Так что? Так давай! Вон Сашка-то – свободен! Еще с каких времен пускает слюни на тебя! Вот и давай! На золоте с ним будешь! В шелках и в брюликах, в зеленом «Мерседесе»! Вот кто мужик! Имеет комбинат! Всю эту жизнь имеет в хвост и в гриву! А я, он вот какой! – Карманы наизнанку с треском вывернув, чуть не вприсядку с грохотом пустился ломовым. – Хоть на говно весь изойду – другим не стану!

– Ну ты дурак, дурак совсем пробитый! – К нему шагнула и припала жаркой тяжестью, въедаясь горькими тревожными глазами в его позорно воротящуюся морду. – Не в золоте счастье, Валерочка! Я ж ведь всегда с тобой, без разницы, кто там имеет что… Имеет – и чего? Мне самого тебя, Валерка, подавай! Другого нет, не будет и не надо. Но только больно мне смотреть, пойми, вот на тебя такого – как ты все бьешься головой об лед. Не говори: другим не стану. Я, может, тоже никогда не думала, что буду шапками на рынке торговать, а не с детишками всю жизнь, как тетя Маша. И вот пришлось. Чтоб не одну картошку есть и кверху задом в огороде. И если завод ничего не дает, то надо искать как-то что-то, Валера. Переломить себя, заставить! Не в золотых горах же дело, а вот хоть что-то пусть зависит от тебя. Вон твои сверстники вокруг – и не умней тебя! – кто шмотки возит из Москвы, кто этот спирт в цистернах дальнобойщиком. Опять ты скажешь, что барыжить тебе рабочая гордость не позволит? Это твой батя может рассуждать в подобных категориях, он прожил жизнь уже, застрял, закостенел. Но ты-то нет, но мы-то молодые!

Затиснул жену, зашептал наугад:

– Наташка, заживем! Я заработаю, добуду! Вот наизнанку вывернусь… не знаю как!..

– Это из домны выпустишь своей? – Она и плачет, и смеется.

– А все из домны и берется! Деньжищи-доллары. Сперва чугун, потом и это все.

– Так это надо превращать уметь.

– И превращу, ты только верь мне, верь! Наймусь мыть золото… вербовщики-то, вон, шныряют повсеместно… и с грамма по десять процентов в мой личный карман. Хоть в Казахстан, хоть за хребет спокойно! Пойду вот в черные! Чтоб все себе, что из природы лично выжму. Уж я-то выжму, ну!

Нет, никому ее он не отдаст, вот для него ее, Натаху, сделали, отлили всю как из Валеркиного сердца и молотком разбили форму, чтобы одна она была такая, чтобы – ему и больше никому. Без слов, без слов ее в себя вжимает с такой силой, чтоб приварилась навсегда, чтобы вросли друг в дружку до способности уже вообще смотреть один сон на двоих.

3

Заехал к матери поздравить с днем рождения, в дом, в который его привезли из роддома, – не его теперь дом. Выбрал время, когда дома точно не будет отца; водитель Коля – словно из огня – втащил под кров огромные пакеты с рационом людей высшей расы; мать есть мать, ей ты нужен и важен любым – одноногий, урод, кровопийца, ей тебя прощать не за что, а отец-сталевар вот не принял – стыдится! – его, Сашиной, сущности, взмыва со второй космической в небо, в самодержцы завода. Все цеха говорили о том, как с наступлением новой эпохи поделились Чугуевы – на хозяина и на рабов; в неподвижном и непрошибаемом убеждении отца Саша был разрушителем – их, чугуевской, металлургической родины: дед построил, отец укрепил, без остатка вложившись своим существом в арматурные кости, станины, валки, ну а сын вот навыворот это стальное добро прожирал, от него растекались, отщепенца и выродка пролетарского рода, разложение и ржа по заводу, и вот что мог ответить на это отцу? Рассказать ему, слесарю, о мировом росте цен на энергоносители и падении – на сталь, о лавинах и штормах, порождаемых в мире виртуальной силой с огромной мощностью связи? Он, отец, видел только свой стан, слышать мог лишь урчание в собственном брюхе. То, что можно потрогать руками, взять в ум. Разраставшееся по цехам беспредельное кладбище остановленных, закоченевших машин.

Дела на комбинате были швах: не бежал больше ток по сети, по единой системе промышленных левиафанов оборонной чугунной командной промышленности; курский магнитный железняк и казахстанская железная руда, кузбасский уголь и могутовская сталь пластались мертвым грузом в разрозненных местах земли, словно добро челюскинцев на льдинах, в соседних измерениях, галактиках – расплачиваться шахтам и заводам друг с другом стало нечем, последний ставленник Москвы на комбинат Андрей Сергеич Буров – по-свойски выбивавший для завода многомиллионные кредиты в кремлевских термах и обкомовских парилках – был интеллектуально уничтожен этой уймой пробоин; не много и не мало – трехсоттысячный, отдельно от завода не существовавший город со всеми школами и детскими садами, микрорайонами подведомственных зданий, чугунной болванкой повис на шее великана-комбината и потянул его на илистое дно.

Рабочим говорили: сами видите – нам шахты не дают угля, дерут втридорога ублюдочные новые хозяева Кузбасса, сталь заставляют отдавать по бартеру в обмен на газожирный уголь, поэтому и денег нету на зарплаты, загрузка батарей на треть, поэтому и дом ны подыхают, поэтому убытки терпим постоянные, и это было правдой беспримесной. Он, Саша, даже никого не увольнял: молодняк начал сам утекать с комбината весенними ручейками и речками: самые дикие и вольные – в «бригады», в «мясники», на место выбитых и взорванных миасских, уралмашевских и прочих бритолобых троглодитов, еще большие тысячи – в грузчики, челноки и водители дальнобойного транспорта… и вот наметилась пока еще не пропасть, но поколенческая вымоина, что ли: старики, отслужив, выпадали в осадок, а молодняк либо сбегал, либо, оставшись у машин, рыхлел от вымывания мертвой водой безнадеги и безразличия к собственной судьбе; новых железных на заводе больше не выковывалось, прежних ела ржа. Все держалось на нынешних сорокалетних и пятидесятилетних; отец перевалил за шестьдесят, возраст дожития, пенсии, и никуда от своего безостановочно катящегося стана не ушел; цеховое начальство ушатывало: «Надо, Анатолий, остаться! Вообще же нам некого вместо тебя!», да и сам он, отец, ждал от них, цеховых мастеров, жаждал именно этого – уговоров, остаться и дожить жизнь со смыслом, отведенным ему, несгораемым смыслом: здесь, в прокатном цеху, его фронт, место службы, собачья будка, пусть началось «необратимое разложение» всего (сквозь зубовное стискивание выжимал из себя: «разложение!») и окончательно завалится завод – он не способен сдать его, предать, признать,

что все его и дедовы усилия растратятся бесследно спустя полвека каторги, страды и литургии. И еще оставались на заводе такие же, и оставалось лишь дивиться той сверхъестественной покорности, с которой тысячи железных перемалывали, перемогали собственное знание, что эта адова работа не принесет им ничего, даже грошей прожиточного подаяния, – будто отдельно от своих машин никто из них не мог существовать, будто сама идея бунта против безысходности не могла зародиться вот в этих мозгах вообще.

Саша все понимал: не чужой – среди этих железных родился. И про бунт понимал, знал предание об аномальном могутовском бунте 1963 года – что бывает, когда эту вот терпеливую, непроницаемую корневую породу наконец довести до плавления, когда в этих дремучих черепах начинает крушиться вера в собственный смысл – понимание, зачем они, кто они. Саша мало что знал о случившемся задолго до рождения его, мало что – от дымящейся правды, в чистом виде, с клеймом «стопроцентная правда», вот отец никогда ничего не рассказывал, всем свидетелям вырвали в тот еще год языки; все убийцы и самоубийцы, все трупы того, больше чем невозможного, бунта были сброшены в шахты и засыпаны известью, все следы на земле – перепаханы, забетонированы; усмиренный, задавленный – танками! – город без истечения срока давности накрыт свинцовой крышкой и наглухо запаян изнутри, ничего не узнала страна – то, чего быть не может, то, во что все равно не поверила бы: гегемоны Могутова, мозг от костного мозга рабочего класса, поднялись на свою мать родную – советскую власть.

Началось, по преданию, с чего? Перестали давать, завозить в металлургическую крепость СССР парное мясо, исчезли масло, молоко, все, кроме хлеба, и какой-то сановный ублюдок, привыкший выходить к чернолицему и мозолисторукому быдлу без палки, вколотил им, железным, со своей высоты, с кумачовой трибуны: «пирожки жрите с ливером вон, если мяса вам хочется», «я скажу, что и сколько вы будете жрать». И стальные вскипели: это им, на которых все держится, это им, из которых получаются самые крепкие гвозди?

Саша думал порой, что сейчас много хуже, чем было тогда, унизительней и беспросветней. И все оставшиеся на заводе восемьдесят тысяч смотрят на него: наверху теперь он, он решает теперь, как они будут жить. Динозавр-завод подыхал, просто слишком большой, чтобы вымерзнуть сразу. Прибыль? Прибыль была. Не одноклеточным он был, чтобы из такой машины общей площадью с пол-Бельгии не выжать прибыли в эпоху, когда взломаны, сокрушены поднявшейся водой все плотины и люди ввысь уходят, как ракета с Байконура, тронулось все, растопленный ледник СССР; все содержимое глубинных русских недр безостановочно ползло составами на Запад – Памиры, Джомолунгмы, Эвересты алюминия, электролитного ванадия, легированной стали… Саша выстроил схему и гнал через пару прокладок тонны слябов в Германию, Турцию, Польшу, и маржа со стальных эшелонов достигала и ста, и трехсот сумасшедших процентов (а когда-то с тоской дожидался он распределения на родной людоедский завод и вертел головой в кресле старшего экономиста: куда бы сбежать из тюрьмы исполинских размеров – в насекомые кооперативы!.. пока не прорубило: он уже сидит в нужном сверхтяжелом ракетоносителе, в мозге всенародно-построенной ленинско-сталинской и теперь – на мгновение первого и последнего шанса – ничейной машины, можно взять ее всю, навсегда – одному!). Только вот без посредников не обходилось: текли его, Чугуева, стальные ручейки и денежные речки сквозь плотины, системы очистных сооружений двух столичных банков – «Финвал-инвеста» и «Империала», не говоря уже о терминалах, взятых в собственность подросшими ублюдками внешторговских князей или гэбистских генералов: этим в правительстве легко подписывали все – по части исключительных прав экспорта через четыре государственные границы, так что ему, хозяину огромного завода, тут оставалось только бегать низкопородной приблудной собакой вдоль колючей проволоки и предлагать могутовскую сталь за полцены: «Возьмите! Купите?!» – корежила необходимость каждый раз делиться половиной(!) своих сливок со

всеми этими царьками стивидоров, с кровососущими «Империалом» и «Финвалом», в которых он, Чугуев, и кредитовался.

Не понимал он разве, хомо сапиенс, что хватит трети выжимаемой им прибыли, чтоб смазать все могутовские заржавевшие, остановившиеся рычаги и шестерни, чтоб оросить живой наличностью существование голодающих железных, но даже этой трети не было в руках. Потому что не кинешь передельную сталь за треть лондонской мировой, справедливой цены – и затворы плотин, терминалов опустятся для тебя навсегда, сдохнешь вместе с заводом! «Финвал-инвест» дает кредит под сорок годовых в валюте! И бандиты – все эти бывшие боксеры и коронованные на сибирских зонах уркаганы – подъезжали со скучной неотвратимостью снега и паводка, брали Сашу за ворот, притягивали, звероподобно вглядываясь в него из-под отсутствующих лбов и низких челок и обдавая бешеным дыханием, и замахивались! Так что руки хозяина самого страшного по размеру в Евразии сталелитейного монстра сами собой взлетали к темени, к лицу, к ощущению удара тяжелой железкой по черепу. И с обессиливающим скрутом в животе, с каким-то девственницким, заячьим дрожанием в паху, с чугунной тяжестью, скопившейся вот почему-то в области крестца, он, автократор комбината, вздрагивал от крика: «Ты че, сука, не понял?! Ты за кого нас принимаешь?! В день по проценту счетчик, знаешь наши правила. На Новый год отдашь со всем накрутом. А нет, гондон, – по кругу будем пялить! Ты чего ждешь?! Чего ты – „понимаете“? Я понимаю, б…, когда я вынимаю! Мне положить, куда ты что вложил и что тебе там на границе перекрыли».

Поставленный на подоконник, парапет, на виселичной табуретке, Саша извивался: вас слишком много, я один, ты пойми, я работать могу только с кем-то одним, так что вы там сперва между собой порешайте. И бандиты решали: по пустырям, заброшенным промзонам, по ресторанам «Русский лес», «Венеция», «Аркадия» стучали с бешеной, швейной частотой АКМы; приобретенные на распродажах в воинских частях, опорожнялись тубусы складных гранатометов и полыхали развороченные джипы пацанов – могло задеть, и Певзнер Игорь Соломонович не выдержал – начальник планового отдела комбината, с которым он, Чугуев, вместе, напополам акционировал завод, – продал Чугуеву за бесценок свою долю и улетел за горизонт в здоровое и сытое небытие швейцарского кантона. А он, Чугуев, ловко и увертливо продлевал свою жизнь – свою власть над терявшим плавучесть заводом, поскольку выпустить ее из рук для него означало стать космической пылью, абсолютным ничем, и никакой другой, обыкновенной смерти – от свинорезки в брюхо – не существовало.

4

– Слушай сюда, второй сталеплавильный! Чтоб после смены в «Металлурга» все как штык! – клич по цехам проносится сквозь гул. – Там в первый, в первый ККЦ ребятам передайте.

– Слышь там, на переднем краю обороны, – собрание в полвосьмого, собственники, поняли?!

– А что такое там опять без объявления? Чего опять правление мутит? Семеро с ложкой эти наши, а?

Кран-великан над головами вопрошающих проносит в пятиэтажной высоте контейнер, полный стального хлама передельного, – дно разверзается, и ломано-перекореженные кости производства мгновенной осыпью срываются в конвертерную глотку.

– Так известно чего: было семеро – теперь еще восьмого позовут. Еще бандоса нового в правление.

– Были двугорбые – теперь какие будем?

Чугунный ковш ползет по рельсам неостановимо и, поравнявшись с печью, медленно крениться начинает, как в Судный день над головами грешного народа, – парад планет на расстоянии протянутой руки; в самой башке твоей вот, кажется, встает переполняющее солнце чугуна – и, повинуясь тяготению, выливается в жрущую масть конвертерной печи. Весь конвертер гудит, раскаленный форсажем, как реактивный истребитель при отрыве. Кислородный поток выдувает из сопел клочья желтого пламени, и расплавленный воздух дрожит, истекая беспримесным ужасом.

– По поводу чего собрание, не слышали? Вот чего нас так вдруг сверхурочно?

– То, то! Дождались, про что вам говорил!.. Хуже, хуже банкротства! Прилетели к нам грачи – пидорасы-москвичи. Комбинат теперь их, и мы все теперь ихние.

– Да откуда такое?!

– Из надежных источников, приближенных к верхам… А Кристинка-бухгалтерша по секрету на ушко шепнула. Ну а кто у начальства со стола не слезает? Это ж уши-локаторы. Все ж при ней меж собой решают.

И шагают, лавиной катятся – толком так и не смывшие въевшейся угольной пыли и копоти – вот так все и идут с подведенными, словно у баб для соблазна, глазами. Весь Дворец металлурга гудит, все подходы забиты, вся площадь: вон молодняк Валеркиной бригады скалит зубы, вон ветераны славы трудовой – в чистых синих спецовках сатиновых, обомшелые, полуседые, с последней жидкой прядкой на голых черепах, встающей на ветру казачьим оселедцем, – насупленно-угрюмые одни, с ухмылкой недоброго предчувствия другие, вон среди них Чугуев-старший с широкоскулой каменной мордой и ртом, пробитым словно штыковой лопатой.

– Это что же выходит? Что ли, наши нас продали, москвичам – комбинат?

– Ну а что, для того и сосали из нас эти акции: «Продавайте давайте правлению».

– Вот своих теперь продали, суки!

– У них нету своих! Только брюхо их собственное!

– Трудовой человек для них мусор. Шлак, который из домны сливают.

– Все, пропал комбинат. С молотка нас теперь москвичи.

– О, о, о!.. Поглядите, выходят, – поднимается гул, уплотняется воздух, прет тугой стеной от рабочей несмети навстречу появившимся членам правления. Первым тащится будто не собственной силой председатель Совета могутовских директоров жирномясо-одышливый Буров, не вертя и не двигая будто не собственной, пересаженной и не прижившейся, наново скверно пришитой ему головой, отрывая с усилием ступни, продвигаясь как будто по разъезженной глине к оставшейся от Первомаев кумачовой трибуне. Следом Саша Чугуев – вот кто все решает, все давно уже поняли на комбинате до последнего чернокотельщика, – молодой и стремительный, гладкий, лощеный, из рекламы про брокеров: галстук, костюм, льдинки тонких очков, телефон портативный с антенной… Ну и свита за ним – Кузьмичев и Лощилин, Васнецов и Остапенко, все. Что-то сделалось с ними, заболели одной на всех, им самим до конца не понятной болезнью, только ясно: само не пройдет, неизвестно чем ле чится, есть ли вот такая вакцина вообще. Морды, морды кривились от необходимости что-то противное, нестерпимо вонючее вот сейчас проглотить, пересилиться, выпить и все-таки вылечиться, всплыть и вынырнуть из-под льдов с разеваемым на полную ртом.

И стоял Буров скорбно, как будто над невидимым гробом с дорогим человеком: не найти такие слова, чтобы высказать… и – как молния преобразила ударом его – сделал шаг и возвысился над рабочей массой один:

– Товарищи, ребята, мужики…

– Заговорил – «товарищи», – в ответ ему прислали по рядам. – Вчера-то господами вроде были.

– Могутовцы! – Настроил голос так, чтоб все увидели у него на лице заигравшие отблески первых мартеновских алтарей комбината. – Мы вас сейчас собрали здесь, чтоб объявить: враждебные тучи сгустились над нашим заводом… Все было как: одной половиной акций до сегодняшнего дня владело государство, второй половиной – мы, правление и рабочий коллектив. И вот те акции, которые принадлежали государству… сорок девять процентов… вот их правительство решило продавать с аукциона… – и сморщился от нестерпимой ненависти, – передает их частному инвестору. Московскому коммерческому банку, «Финвал-инвест» такому, понимаете? В обход нас с вами, сталеваров, не ставя нас в известность вообще! Это Чубайс, – назвал им зло по имени. – Между собой решили все в кремлевских кулуарах. И значит, что? Чья власть теперь на комбинате? Кто будет все решения принимать, от которых зависит, будет жить наш завод или нет? Это мы будем с вами? Или эти вот новые… с горы станут прибыль выкачивать в личный карман? Захотят вообще наш завод распилить и продать по частям? Вот чтобы все, что было в муках, в кровавых корчах родовых построено, пошло бы прахом и бурьяном заросло? Наша гордость! Наша память о дедах! Вот на какие нам тяжелые вопросы предстоит ответить! И вот сейчас нам Александр Анатольевич конкретно растолкует…

И настоящий собственник, держатель рабочих акций, жизней – к микрофону. Скривился так, как будто бы слепило его какое-то болезненное для застекленных глаз мигание сварочного света, но пересилился и, глянув куда-то поверх всех рабочих голов, заговорил с подрагивающим напором:

– Эта сделка по акциям нашего с вами завода, она уже заключена, тут все железно по закону. Но то, что надо с самого начала понимать: они пока еще тут не хозяева, пока еще хозяева мы с вами. По акциям мы с вами имеем большинство: у нас, правления, сорок шесть процентов, и у вас, рабочих, на руках пока что остается пять процентов. Вроде совсем смешная цифра, но решающая. Если мы вместе с вами сложимся и будем голосовать по всем вопросам заодно. Сейчас вот эти москвичи приедут и будут вас просто ушатывать, чтоб вы им продали свои вот эти акции. Хорошие вам деньги будут предлагать – по меркам вашей нищеты сегодняшней хорошие. А по сути копейки. Вам заплатят копейки, а сами тогда продадут наш завод за десятки, за сотни миллионов какому-то иностранному собственнику. Они этим, банкиры, живут – покупают завод за копейки, а потом продают его за настоящую стоимость. Про нас вам будут говорить, что это мы угробили завод, что мозгов у нас нет, а они вот пришли – и на головы ваши прольется просто манна небесная. Ну а сами тайком будут с нами, со мной вот лично торговаться за акции. Лично мне миллион, в мой карман. Я могу и продать, понимаете? Вас продать, как крестьян крепостных, барин – новому барину! И они тогда будут иметь вас и делать с вами, что захотят! Увольнять и с завода выбрасывать тыщами! Тоже все по закону. Ну а я получу от них столько, что хватит и детям, и внукам на красивую жизнь. Улечу на Багамы, в Америку! Но я так не хочу! Не хочу, не могу вас продать, зная, что отдаю свой завод им фактически на разграбление! Но и вас попрошу тоже не продавать – ведь от вас тут, от вас все зависит! Если каждый из вас принесет им в зубах десять штук своих акций, то тогда на заводе хозяева будут они. Завод сейчас в тяжелом положении. У вас к нам накопились, мягко говоря, претензии. Мы понимаем, отдаем отчет, что мы во многом не оправдали вашего доверия. Не имели возможности вовремя вам выплачивать зарплаты за ваш честный труд. Не наладили должных отношений со смежниками. Но чтоб родной завод заведомо банкротить и без работы целый город оставлять – такого у нас в мыслях не было! Я ж ведь лично не с боку припека. Я родился вот тут. Вы все знаете… – И ввернул то, что мог обратить себе перед рабочей массой на пользу, поглядел людям в лица с некрасивым, позорным подражанием теплу: мы одной с вами крови: – У меня на заводе работают старший брат и отец. Честно, многие годы у прокатного стана, вы тут все его знаете. Кто такие Чугуевы, зна… ете… – и споткнулся, нечаянно найдя среди лиц, провалился в

отцовский чугуевский взгляд и, не скрыв неудобства, откачнулся, отпрянул от обдавшей его отчуждающей силы родного, мерзлоты неприятия, кроме которой ничего не осталось для сына в глазах у отца – даже горькой усмешки: вона как ты запел, зашаталось как только у тебя под ногами. Про отца сразу вспомнил, про брата. Узнал, сынок, теперь, с какой болью врезается в кадык неправота? Худо стало тебе? А как нам ты?.. Совладал с оборвавшимся, детски дрогнувшим голосом и нажал опять с мобилизующим пылом: – А они тут чужие! Наша земля для них чужая! Так что мы в одной лодке теперь. Из одного только инстинкта самосохранения должны во всем держаться вместе против пришлых! Акций не отдавать! Я даже знаю, больше чем уверен, что по-другому просто вы не сможете! Спасибо за внимание вам и понимание… – И не мигал уже, не морщился, не отводил трусливые, болящие глаза – вымогающе вглядывался в обожженно-немые рабочие лики, нажимал, выжимал солидарность из динасовых огнеупорных закопченных, седых кирпичей и действительно верил в то, что говорил, что его еще могут железные люди услышать, да и даже не верил, а просто другого ему не осталось, уже только и вправду инстинкт разжимал ему челюсти и толкал из него: «Помогите!»

Рабочая орда качнулась, забурлила, заброшенные сверху реактивы переваривая: «Вот, значит, снова стали мы нужны, рабочие», «Никак у них без наших акций не выходит», «От нашей воли все зависит, поняли? В кои-то веки все от нашей воли!». «Завод, завод под нож!» – устойчиво гудело в самой глубине. «Так че мы, как мы? С акциями что?» – «А сам подумай что! Без вариантов!» – «Без вариантов за правление, за Чугуева!» – ярился на предельных оборотах и разгонял волну усердствующий Степка. «А за Сашку Чугуева что? Сосали кровь из нас – и мы теперь за них?! Ведь ни во грош не ставил нас Сашок! Он, Сашка, что теперь – Чугуев я, Чугуев, из тех Чугуевых вот самых, заводских, вам всем тут брат, давайте, мужики… Да за свою мошну вот только и трясется! Что от кормушки за уши оттащат эти новые. Он понятно за что, ну а мы? За него?! За коттеджи их в три этажа вон в Нахаловке? Пускай почует, каково, как с комбината их под зад коленом!» – «Вот ты чудак на букву „эм“! Под москвичей ложиться предлагаешь?! Чтоб к чертям поувольняли до единого?! Чтоб по кирпичику завод растеребили?! Под москвичами вообще не жизнь!» – «А что там Жорка Егзарьян молчит? Пусть коллективу скажет, что он там мозгует!» И оборачиваются все к «экономически подкованному» – седой, заслуженный старик с мясистым шнобелем на перекрестье взглядов голос пробует:

– А что тут скажешь, мужики? Тут Сашка прав. Вот этот наш довесок акций, он решающий: на чьи весы – того и верх. Правление наше – тот еще подарочек, вор на воре, давно уж это поняли. Рабочим – крохи с барского стола, чтоб не загнулись только с голодухи. Но те, которые приходят, москвичи, – это ж вообще чубайсовское племя. Чубайс все это и затеял, рыжий… прихватизацию очередную, чтобы заводы окончательно по всей России развалить, американской колонией нас сделать. Они ж долги искусственно специально создают. И глазом не моргнешь, как скажут, что надо срочно половину рабочей силы с комбината увольнять. Для них же главные издержки – это люди. И если есть у нас какая-то возможность по закону не дать клешни им запустить на комбинат, то надо пользоваться ею, как господин Чугуев говорит.

И все, пошла реакция плавления, соединения в единовздошный монолит: «Пусть только сунутся – ногами вперед вынесем!», «Все за Чугуева тогда уж, за Чугуева!», «Слышь, Сашка, радуйся – тебе поддержка полная!».

5

Нет, одноклеточным он не был, чтобы не угадывать, откуда могут по нему ударить, чтобы не слышать явственного тиканья адской машинки, подведенной под него.

Как покатилась от Москвы к Уральскому хребту та еще первая волна приватизации, он уже знал, Чугуев, с хищной радостью, что делать. Сто тысяч заводских аборигенов в едином инстинктивно-охранительном порыве обменяли свои ваучеры-фантики на акции родного комбината – вложились в свое, в знакомые до заусенцев валки и арматуры непрерывного качения. «Трудовой коллектив» был объявлен держателем контрольного пакета ОАО в равных долях не с кем-нибудь, а с абсолютной силой государства, которое за заводом каждое мгновение по-отечески следит; Чугуев прилепил к рукам всего-то три процента и начал планомерно, методом «катка и пылесоса» вынимать у железных рассеянные по комодам и тумбочкам, по шкатулкам и вазочкам в старых советских сервантах напечатанные на Гознаке фиолетовые сертификаты на акции: учрежденный им «Могутовский металл» по копейке за тонну покупал у завода холодный прокат и двухтонные слябы и сдавал перекупщикам на границе уже по рублю; официально прибыль комбината составляла 0,0000001, из самого понятия «зарплата» выпарился смысл, животы прилипали к хребтам, и голодным вколачивалось: есть возможность нажраться – продать ваши акции, мы уж ими, правление, распорядимся, все равно, так и так на заводе останутся, все равно государство держит в сейфах Центрального банка половину другую могутовских акций – если что, всех спасет в половодье добрым дедом Мазаем. И рабочие верили.

Вот уж в чем была правда: государство держало 49 %. Знал, откуда ударит, но когда, как отбиться, как выстроить линию Мажино, Маннергейма – это вне разумения. И взорвалось в Кремле намного раньше, чем задрожала тут под ним, в Могутове, земля. Он еще мнил себя единоличным, навсегдашним хозяином металлургического города, а сжатая предельно во времени цепная реакция все более рослых взрывов неслышно разбегалась от Кремля, корчуя, выворачивая кресла директоров и председателей советов акционерных обществ высшего порядка из земли. Мир сократился под нажимом каменной породы – Саша почувствовал себя придавленным жуком, горняком, похороненным заживо взрывом в забое: неделимая доля секунды – и гранитом расплющит грудину.

И ведь кто-то вот этой силой «там», «из Москвы» управлял, изворотливый чей-то рассудок придумал этот план «Барбаросса», беспримерный по голой, топорной своей простоте и бесстыдству. Говорили – Угланов, из Москвы докатилось легендой до Саши – Угланов. Саша с ним сообщался по кредитным и прачечным нуждам все время («Финвал-Инвестбанк»), не с самим человеком, которого он ни разу не видел, а с явлением «Угланов».

Дано: Кремль кровно нуждается в орошении пустой федеральной кормушки – нефть идет по семь долларов страшных за баррель, пятьдесят миллионов голов застонали от Хабаровска до Кенигсберга: дайте пенсии, дайте зарплаты. «Эти деньги есть только у нас, – втемяшивал Угланов Мише-Боре-Славе, чудовищам российского финансового капитала. – Немедленно, вчера срастись в конгломерат и предложить Кремлю спасительный кредит, затребовав в обеспечение долга акции российского „всего“. Смотри, мы создадим иллюзию, что Кремль сможет через год обратно эти недра получить или реальную их стоимость. Мы скажем: в случае невозврата мы выставляем эти вот бумажки на торги, только о времени и месте этих распродаж будем знать только мы, „больше всех“ сможем дать только мы».

Акционировали одну шестую суши – забесплатно: кредит Кремлю давали его же собственными деньгами, «долг – в долг»: давно уже закачанный Минфином в их ходорковские, углановские банки миллиард – на прямые субсидии тонущим и затонувшим машинам Красноярска, Тагила, Норильска, Могутова – Угланов разворачивал на скупку русских недр и заводов, чтоб с беззастенчивостью первого миссионера, обожествленного туземцами за солнечные зайчики и порох, не потратить на всем протяжении залоговых этих глистов ни рубля.

С первых дней своей власти в Могутове он, Чугуев, повел половину расчетов через этот всесильный, надкремлевский «Финвал»: Угланов дал ему надежные каналы в панамские и лихтенштейнские офшоры, головоломную структуру очистных сооружений, ведущую в глу-

бинные налоговые бункеры. У Саши, проследившего впервые движение сотен тысяч своих долларов от импортера через Тихий океан на острова, враз наступило прекращение электрической активности – при первой же примерочной потуге вообразить себе надмировую систему ирригации, по отводящим желобам, по рекам кабелей которой Угланов гнал, распределял и сепарировал чужие миллионы как свои: артериальные, аортные потоки делились на несметь вилявших капиллярных ручейков, и нитяные ручейки неусследимо разбегались, чтобы всего через каких-то пару «банковских часов» со световой скоростью собраться в нужном месте, и вот теперь вся эта денежная масса была повернута группой армий «Центр» на Могутов. Еще не ожили отбитые аукционным молотком у Саши перепонки, как раскаленный факс в приемной испустил приказно-похоронное, без знаков препинания, предписание начать переговоры о продаже принадлежащего Чугуеву пакета – семь(!) миллионов долларов за третью по размеру в мире сталелитейную машину оценочной стоимостью в вечные, арктические триста миллионов! Не дали голоса, руки, а факсовым плевком: тебя здесь нет, тебя склевала бешеная курица.

Чугуев вскинулся с безмозгло полыхнувшим в нем «подавитесь!» и обвалился в кресло сразу от подступающих со всех сторон подкашивающих известий: поставщики застопорили намертво отгрузки коксовых сортов на комбинат, все как один ссылаясь на шахтерские восстания, – через неделю комбинат закоченеет, через две его убытки разрастутся в миллиард… и через дление кратчайшее Чугуева пробила упавшая на темя бандероль: счета, транзакции, налоговые схемы, все на него, Чугуева, количеством страниц грозящее перерасти в надгробие лишения свободы. И под библейской пачкой запросов в Генпрокуратуру – роскошно иллюстрированный рекламный каталог «Элитный ритуал»: гробы из ценных пород дерева, гранитные и мраморные статуи и плиты… По всей стране погашенные, стертые директора промышленных циклопов, получив вот такую посылку от новых хозяев своего бытия, хватались за ребра над сердцем и клешнями скребли по столешнице, смертно нашаривая в ледяной пустоте валидол и коньячные рюмки. И защиты искать было не у кого – это, наоборот, у Угланова были партнеры по теннису, вот тот самый, который самый главный в России по теннису, – «сам».

Пока живой, – проскакивало искрой в башке, – продать по-хорошему им свой контрольный, поторговаться с ним, Углановым, и вымучить не унизительные, нищенские семь, а соразмерные себе, Чугуеву, хотя бы пятьдесят, хотя бы тридцать, двадцать миллионов, взять что дают, пока дают, и уползти непокалеченным, как Певзнер, перелететь в приватную вселенную, беленый дом средь апельсиновых деревьев на Ривьере. И кипятком окатывали мозг и сердце изнутри и затопляли его, Сашу, бешенство и злоба: он не способен сдать то, что его, Чугуева, делает большим, он не может простить и смириться с понижением своим до ничтожества.

Большинство голосующих акций – за ним, с пятью процентами в руках могутовских железных он может бить, ответить, возразить. Вот последнее, что остается, Саша сделает – поставит на этих вот дремучих, низколобых, им обмишуренных, обобранных, объеденных. Боялся, что железные просто посмотрят на него, как на сплавляемого к устью подо льдом утопленника: да сдохни, туда и дорога. Но положился все-таки на «душу», самосознание могутовской породы. И не ошибся – сразу же подперла его сила: он, Саша, был для них, железных, злом привычным и понятным, а вот неведомый углановский «Финвал» – пришельцами «оттуда», в мохнатых щупальцах, антеннах и шипах. Надо было лишь верно расставить акценты, и Чугуев расставил – в мозг рабочему пару увесистых, крепких гвоздей… и посмотрим, как теперь запоешь ты, Угланов, воткнувшись и застряв во внезапном понимании: живая стена, надо ехать вперед по живому, не по мелким костям одиночек – по рабочей несмети, ревущей так, что слышно в Кремле и Женевском суде по правам человека. Чугуева

ты можешь смолоть и прожевать, порвать прокуратурой и УБЭПом, попробуй-ка с живой силой совладать, когда она из берегов выходит – за Чугуева!

6

– Да ты чего, Валерочка? Да разве ж такую махину закроешь? Это ж такое будет вообще, чего ни умом, ничем не понять… – Жена Валерке в ухо шепчет в темноте, и волна за волной под тугой ее кожей прокатывается, и вот рад он, Валерка, что она ожила, из инерции существования вырвавшись, словно из барабана стиральной машины, ожила, пусть и страх перед завтрашним днем, обещание развала, нищеты уже полной так Натаху встряхнули – вот все лучше, чем вовсе отсутствие воздуха хоть каких перемен, хоть в какую-то сторону.

– Все едины – угробят завод москвичи. И наш Сашка с трибуны об этом, да и все мужики так меркуют.

– Ну а их-то кто видел, москвичей этих самых?

– Посмотреть больно хочешь?

– Ну а что они скажут? Может, это они на завод, инвестиции? Наоборот, завод чтоб с мертвой точки сдвинуть?

– Вот где мертвая точка у нас, – в лоб ей пальцем – стук-стук. – Мерзлота и целинные земли у нас в голове.

– Да иди ты, профессор! Сам силен, посмотрю, был по жизни мозгами раскидывать.

– Да тут мозгом не надо вообще никаким!.. это детям известно, что в дома на Канарах у них все инвестиции. Подчистую съедают все, что можно продать, и на головы срут нам, а мы обтекаем. «Инвестиции» – тоже мне, знает слова. Так что надо их выдавить с комбината хоть как.

– Это кто же выдавливать будет?

– А вот все как один, всем заводом. У нас ведь с тобой акции, собственница! И у бати есть акции, у Мишани, у Степки, у многих еще. Вот с правлением скинемся в общий котел, и у нас против них, москвичей, большинство.

– Это значит, теперь ты за Сашку? Брат за брата, ага?

– Голос крови, скажи еще! Это при чем? Мы, Чугуевы, – мошки, когда речь о заводе. Его дед мой горбом, по кирпичику строил. А они – все прожрать? Хер им в чавку за это, а не акции наши!

– Ой, Валерочка, способ найдут, как им все ваши акции в пыль.

– К проходной пусть сперва подойдут. Мы и брифинг им там, и консенсус! – Руку в локте согнул и ладонью по сгибу. – Надо будет – задавим физически.

– Это как?! А закон? – Отлепилась щекой от груди, полыхнули кошачьи глаза в темноте. – А с милицией вас?

– Тут дивизией танковой надо. Задавим!

– Что ж ты такое говоришь, Валерочка?! Это ж подсудное ведь дело!

– Это когда один, тогда оно подсудное. А когда все – народное восстание. И не власть уже судит, а мы ее, власть, раз она теперь, власть, вот над нами такая.

– Только это, Валерочка… ты не очень там, ладно? Чтоб не в первых рядах.

– Это как я? А где?

– Да действительно, господи, – я ведь с кем говорю! Обрадовался, да?! Кулаки зачесались? Есть теперь разгуляться где, да?! Ты смотри у меня! Слышишь, нет?! – Кулачком его в ребра пихает – хоть на сколь-нибудь глыбу вот эту подвинуть, тягу сбить в нем, Валерке, на зряшные подвиги.

– Что смотри-то, чего?

– Чтобы я без тебя не осталась – «чего»!

И опять к нему льнет, ищет губы, глаза, своим телом связать его хочет, придавить, не пустить воевать, и ее, не стерпев, опрокидывает и звереет над ней, подминая, – от ее жадной силы телес ной, от ее звонкой крови, что под кожей бьется, толкаясь в него: прорываются будто под руками незримые русла, брызжет сок, что их склеивает так, что не разорвать, – это с мясом придется, и она ему в ухо – в кратчайшее дление их предельной сродненности – с непонятной, новой, подгоняющей жадностью: «до конца… разрешаю…» – вот какие права ему и свободы дарованы, вот его, значит, чем привязать к себе хочет, вот какой самой сильной и самой простой связью-завязью в чреве, ну а если и эта порвется, то тогда уж и вправду, значит, света конец.

Осада

1

Ждали-ждали, готовились – все равно как на голову снег, сходом селя, Мамаем, в полвосьмого утра в понедельник. Рассекли город надвое плугом мгновенным, ломовым многосильным пролетом вороных вездеходов: тут таких и не видели – высоченных, подъятых на огромных колесах, ростом чуть не с БелАЗ, лакированных, сыто лоснящихся, с наварными таранными рамами, в каждой мелочи облика американских… прямиком на завод по натянутой хорде моста над Уралом.

Волочились Валерка с отцом по извечному руслу в составе многоногой ползучей могутовской силы, что втекала в ворота второй проходной, и вот тут загудели им в спины в спокойной уверенности, что расступятся все и отхлынут к обочинам, и почудилось каждому в лаве, в реке, что качнуло тебя, потянуло с дороги и стоишь на коленях, пропуская вот эти стальные вороные куски и колючие злые мигалки: все равно не заметят и проедут вперед, раздавив, и качнулась внутри и плеснулась Чугуеву в голову злоба, руки сами собой налились раскаляющим зудом и свелись в кулаки… «Ну, видали теперь? За людей не считают!» – проскрипел за спиной у Чугуевых Степка, но пока только молча – что ли, от неожиданности? – провожали глазами текучие свои отражения на зеркальных боках проплывающих джипов: не давали им эти бока, затемненные стекла ни секундной задержки их рабочего облика, не впускали, не видели. Поднимая метель из березовой палой листвы, ломанулись прочерченным резко маршрутом к трехэтажному белому дому правления.

Распахнулись все разом, как крылья, вороненые дверцы – волкодавы, бычье, скорохваты поднялись, озираясь рывками, в президентскую службу охраны играя всерьез: «пятый, пятый, ответьте второму», открывая хозяевам дверцы, прикрывая их спинами – поднимавшихся с задних сидений лысолобых, лощеных, сверкающих золотыми очками, часами из-под снежных манжет, тонколицых, с одной усмешкой на всех – неподвижного знания: будет все так, как скажут они.

– Деловые! Здороваться надо вообще! – Степа в спину пришельцам кричит. – Когда входят, стучатся вообще-то, перед тем как зайти. Или что, мы стеклянные? Че ты лыбишься, лысый?! Да тебе я, тебе! – Это длинному он, с головой лобастой плешивой, – морда прям как у фрица в 41-м на марше. – Что, не терпится к креслу примериться, лысый? Только кресло вот это на наших плечах, на горбах наших, понял?!

И у Валерки челюсти сами собой расцепляются:

– Жарко тут, как в аду, – вошебойка! Все бациллы московские дохнут на нас!

И рвануло – улюлюканье, гогот, свист и гул прут стеной от рабочей толпы, только те-то, пришельцы, как шли, так и дальше шагают, не вздрагивая от ударов воздушных, от гогота. С нерушимой улыбочкой этой своей – на крыльцо и под вывеской скрылись, лишь охрана осталась одна у дверей мертвоглазая.

– Когда уголь дадут нам, который зажилили, – вот бы это спросить у господ, – выдает кто-то из стариков. – Не зашли на завод и уже ползавода угробили! Ледниковый период по цехам – это как?!

– Что, и уголь они нам?

– А ты думал как? Все заточено на истребление, – подтверждает всем Степка. – Знают, суки, что мы от угля, как от хлеба, зависим! В чистом виде блокада!

– Может, прямо сейчас из правления выкинем гадов? – Кровь в Валерке гудит, распирает, бьется в стиснутых пальцах, в висках тупиково.

– А вот выйдут пускай и ответят, что они там решили с нашим Сашкой в верхах. Что, и дальше продолжат морозить завод или как? – Егзарьян приговор свой выносит.

– Не расходимся, слышь, мужики, не расходимся! – над толпой Степа голос возвышает до срыва. – Не предъявим сейчас наше право – завтра нас и не спросит никто!

2

Голосил, заливался в припадке на столе телефон, секретарша Раиса грызуном пропищала по громкой: «Алексананатолич, тут к вам… из Москвы». Слабой, слизистой плотью, выскребаемой из раковины, влип Чугуев в высокое тронное кресло и бессмысленно слушал, вбирал нарастающий грохот шагов выдворяющих… дверь взрывом распахнулась и вошли, как в аварийное, дизентерийное, разбомбленное помещение, трое.

– Шаги командора, Сашок, принимай, – тот из трех, кто был Сашей узнан, – Ермолов, с длинной, чуть лошадиной иностранно-арийской мордой, двинул стул к гендиректорской перекладине «Т» и подсел, навалившись на локти. – Ты что, Сашок, за митинг нам устроил? – Разглядывал с глумливой укоризной, примечая в чугуевском смятом лице то же, что и во всех лицах уничтожаемых, – усилия скрыть дрожь. – Ну-ну, понимаю, играешь рабочую карту. Создать нам обстановку нетерпимости. Твое вот это стадо, допустим, встанет грудью. Только где же тут ты, дурачок? Ты посылку мою получил? Читать вообще умеешь? Это даже не вилы – это нет тебя больше вообще. Давай сдавай нам скипетр с державой, бери в зубы сколько ты стоишь – и сгинул, исчез. Семь миллионов, оно лучше, согласись, чем десять лет лишения свободы.

– Завтра, – усилился морозным тоном отчеканить, – мы проведем по вашему вопросу собрание акционеров, вот тех самых, которых вы под окнами счастье имеете видеть. – Да почему же сразу голос у него срывается на какой-то щенячий раздавленный писк? Перед этим Ермоловым, правой или левой рукой углановской, чутким носом, клыками, языком для общения с низшими, третьим или четвертым человеком в «Финвале»? – Большинством голосующих акций утверждаем эмиссию и размываем твою долю до нуля.

– Тю! – Ермолов с состраданием разглядывал знакомые повороты хорошо изученной болезни, известные науке проявления активности предсмертной. – Нет у тебя, Чугуев, никакого завтра, не говоря уже о том, что все твои эмиссии – чистейший онанизм. Слив фантиков себе же самому по доллару за тонну – с понтом размещение, – да в эти игры нынче даже самые старперы не играют, которые еще Брежнева застали молодым. Мы это в Высшем арбитражном оспорим за минуту… Да, кстати, я что, вас еще не представил? – оглянулся испуганно на подчиненно молчащих своих. – Алексей Николаич Костенко, первый зампредседателя УФНС по Уральскому округу. Ну а это полковник Ахметьев, УБЭП. Будешь плохо вести себя, Саша, – дядя Слава тебя заберет. Потроха твои вынет из сейфа сейчас, и перешьем учредилку на дядю Борю из четвертого подъезда. Или чего, под доверителя пакетик свой увел, сидишь теперь и радуешься, да? Ну ниче, нарисуем арест тебе задним числом… – Уморился и от страшной тоски простонал: – Что ж тугой ты такой? Мы чего, твою хату родную сожгли с ребятней и старушкой-матерью, чтобы ты на нас с вилами? Забирай свой кусок по размеру ротка и живи. И спасибо скажи, что повадки у нас не бандитские. Что пыхтишь еще благодаря нашей элементарной брезгливости.

– Что-то слишком ты, слишком меня уговариваешь. – Чугуев упирался, напрягал отсутствующие мускулы, шарил, шарил впотьмах по подмытому скользкому склону, сползая…

– Еще раз для особо понятливых: я хочу сделать все без нарывов, без вони.

– Без нарывов, ага, в виде массовых выступлений толпы с арматурными прутьями. – Только это держало Чугуева.

– Вячеслав Алексеич, придется его в изолятор, – с дежурной интонацией главного врача продиктовал Ермолов санитару. – И посмотрим, кому тебя надо, трибун ты народный, в этой самой толпе. Может, эта толпа нам сейчас аплодировать будет, в последний путь тебя, родного, провожая. – И как раз, подгадав, пароходом у него под рукой загудела «моторола» массивная. – Да!.. Ну и что?.. Вотжежматьтвоюа! – И затлелось в его немигающих ровных глазах разумение: что-то сделалось там, на земле, в сталеварном бродильном котле заоконном, не так; с говорящей трубкой у уха, проворно вскочил, выбрел на этот трубочный голос к окну, повернул жалюзи, запуская вовнутрь стальной, полосующий, режущий свет комбинатского утра. – Вот порода-то, а! – С недоумением брезгливым вглядывался сквозь щели в заклокотавшую могутовскую лаву, в шевеления червей земляных, столь устойчивых к перепадам давлений и температур. – Это мозгом каким обладать надо, а? За кого лбом об стенку, бараны? Вас же этот хозяин как только не драл, с перестройки годами дерьмом вас без хлеба – и чего, за него? – Обернулся на Сашу с каким-то насилу смиряемым непониманием: – Объясни мне – вот как?! Как ты их сагитировал? Как они вообще тебя сами до сих пор еще не разорвали? Это ты им про нас – что вредители с Запада, марсиане, масоны, Пентагон нас заслал? Это ж каким дерьмом должны быть бошки набиты вот у этого народа, чтоб верить в эту большевистскую риторику о расхитителях народного добра? Что ж, вечно надо с ветряными мельницами драться и вечно, тварь, страдать не от того, что реальной причиной твоих бедствий является? Проблема же в одном хозяине конкретном. Нет, образ врага себе надо придумать, буржуев, которые во всем и виноваты – в том, что ты сам работать не умеешь и не хочешь, с молочной кухни, с мамкиной, блин, титьки! – А ты пойди им это объясни! – Саша почуял подымавшую его, в нем распускавшуюся силу: нет, он не хрустнул, он не камушек в углановском ботинке, не своротить его, не выломать отсюда, пусть эту прочность придавала – ни за что и вопреки чугуевским «грехам» – ему сейчас могутовская масса, которая не за него стояла – за себя, но вот и за Чугуева ведь тоже.

– Чему ты радуешься, дебил, чему?! – Рука Ермолова взметнулась вспугнутой птицей – мазнуть его по морде скрюченными пальцами. – Пускай твой дом сгорит, по логике, лишь бы у нас корова сдохла? Живых людишек под бульдозер подставляешь – и не жалко?

В дверь постучали – всунулся поживший, с непримечательным лицом и стертыми о снайперский прицел глазами:

– Андрей, обложили. Не менее двух тысяч человек. Настрой агрессивный. Возможен силовой контакт. Самим с территории не выйти. Если без мокрого, тогда задавят массой.

– А если с мокрым, то на части разорвут. – Ермолов уже не присаживался, туда-сюда шагами мерил кабинет.

– Они хотят, чтоб этот ихний вышел к ним и подтвердил, что вы тут ничего не подписали. Если «гена» не с нами, – мертвоглазо кивнул на Чугуева, – нам отсюда бумажки не вынести. Не дураки – устроят шмон. Их лидеры явно уже подготовлены.

– «Тяжелых» вызывай – по стойлам пусть разгонят это стадо.

– Ну, это не сейчас, Андрюш. Сейчас бы нам самим отсюда ноги унести, без преувеличения. И разговаривать с людьми придется, мое мнение, чтоб красненьким эту промплощадку не сбрызнуть… Да и ладно бы сбрызнуть – сколько их, посмотри.

3

Обложено заводоуправление столпотворением восставших пролетариев – в единый организм спаялся молодняк, из сотен мощных глоток, словно из одной, скандирование беспрерывно извергается: «А ну-ка давай-ка…. отсюда! Родного! Завода! Ворам не отдадим!»

– Что требуем?! Собрания требуем! – В первых рядах Степаша лаем надрывается. – Хозяин твой, хозяин сюда чтоб вышел к нам! Чугуева, Сашку нам, Сашку сюда! Пусть под-

твердит, что ничего вам не подписывал и все по документам нашим уставным осталось, как и было! И вон пошли отсюда – так не входят!

– Ну так все и должно быть, мужики! Мы просто сейчас сядем и уедем! – Начальник охраны банкирской бросает обещания жирные в рабочие разинутые глотки. – Там ничего не решено, не будет сегодня решаться вообще! Голосование, собрание – все будет!

– Чугуева, Чугуева сначала! Пусть подтвердит, что вы тут не хозяева! А если нет – замесим только так!

– Да повыкидывать их всех отсюда без порток! В Урале искупать козлов! На память!

– Про уголь, про уголь вопрос! Когда на кокс откроете, душители?! Кокс, кокс! В природе есть такой, слыхали, металлурги?! Завод же гробите – чего, не понимаете?! Пусть уголь нам дадут сперва! Без этого вообще не будет разговора! – Кричат все те, кто чует заводские батареи как продолжение собственного существа, свои кишки, печенку, селезенку.

Только в ответ им – взрывом! – рев и грохот: грузовики армейские огромные прут в разведенные центральные ворота и с равнодушной, слепою, словно без водителей, неотвратимостью – в рабочую халву! Из-под тентов защитных картохой заломились, посыпались, раскатились по площади топотом ног в вездеходных протекторах – туши в бронезащите, железные головы – и сомкнулись, составили жестяные корыта в напорные стены, в метростроевский щит, чтоб пойти, грохоча, молотить их, рабочих, дубинками, и отрывистый в лай в мегафон над всей площадью: «Граждане! Прошу вас сохранять порядок и выполнять все требования сотрудников милиции! Мы находимся здесь для того, чтоб пресечь незаконные действия. Не надо обострять и усугублять!»

– Я тебе сейчас так усугублю, что из земли не встанешь, мусор! – Из Валерки Чугуева рвется, как зверь, все, что внутри под ребрами копилось и не переваривалось – гнев на бессилие свое, на то, что можно человека так непрерывно, невозбранно принижать и только так и будет продолжаться, будто бы кто его с рождения, Валерку, в это бессилие, как гвоздь по шляпку, вбил.

И точно так же каждого в несмети вот это пламя-злоба прожигает – неумолимой тягой подхватывает, мгновенно начисто защитный навык убивая, и вся их тьма рабочая, качнувшись, из берегов выходит разом, общим вздохом – затрещала, враз просела стена щитов омоновских под лавой, под ломовой, молотобойщицкой силой: уж тут какой ОМОН, какая жесть смешная, когда вот так, насосом сквозь тебя качают – так, что вмещаешь в свою маленькую душу всех железных, – общую кровь, вот вся она в тебе? И, разгромленный, Валерка самым первым, будто передним, самым крупным камнем в камнепаде, в строй гуманоидов омоновских врубается – кладку за кладку, уровень за уровнем бетонобойной бомбой пробивая, в белом калении свободы, в первом крике новорожденного достоинства: он есть! Жмет всею массой, за хоботы резиновые по одному бойцов из строя вырывает, перехватив дубиночный удар, – и нет уже через мгновение никакого строя перед ним, все замешались в кашу, словно в барабане завертевшемся: где тут чужие, в панцирях и касках? Одни свои уже, рабочие, защемили его, Чугуева, в плечах и потащили… Уже крыльцо заводоуправления перед ними – и вот сейчас под общей грудью рухнут двери, и хлынут внутрь, ликует он, Валерка: победил, поставил так себя, что поперек ему не становись, но только в горле запершило вдруг, царапнуло как наждаком или зернистой теркой изнутри – дым повалил навстречу им, рабочим, все становясь тягучей, едче, злей на вдохе, встал непродышной, теснящей белой тьмой; будто набили в глотку, в грудь горящей ваты, которую не выхаркать в сгибающем и выворачивающем кашле, все от жжения злого ослепли, друг дружки не видя, – каждый ломится в этой давильне в одиночку к отдушине, за куском, за глотком промывного проточного воздуха… и Валерка с налитыми жгучей мутью глазами – туда же… и по спинам, по ляжкам, по ладоням утопленников продавился на волю, вобрал, разодрав рот на полную, воздух, и тотчас темнотою хлестнуло его по затылку, и еще раз, еще – резиновыми разрядами, жгутами электриче-

ства, и стоит все, чугунный, не валится: в восемь рук его, в восемь дубинок охаживают, и в ответ он, в разливе совершенно звериного остервенения, на угад кулаками молотит, попадая во что-то мясное и твердое, еще больше ментов распаляя и вводя в безразличие, куда попадать, лишь бы только свалить его, бивня такого, и стоит все, стоит, не ломается, пока в башке его, последнего рабочего бойца, не полыхнет и не взорвется лютым белым электрическая лампочка и не станет Валерка вообще не в курсах, на каком он, на этом или том уже свете.

4

Лучше б уж кончился в отмеренных мучениях, не дожил до этих дней позора и распада, чем видеть то, что уготовано заводу, чем оставаться на агонию его. Как драчевым напильником кто-то проходился ему по нутру, и когтистая лапка сжималась на горле при виде застывшего в лётке расплава, при виде замерших, замерзших на катках, покрывшихся неразбиваемой окалиной слябов – уже унылой череды могильных плит, а не живых, малиново светящихся первородным калением слитков, – при виде разносившихся вконец, держащихся на честном только слове осей и втулок арматуры непрерывного качения, при виде испохабленных, надтреснутых, внутри себя надломленных валков, пошедших трещинами в самой сердцевине, покрытых сеткой сколов безобразных, пропаханных кривых, извилистых бороздок, будто отлежанная гладкая округлая щека железного ребенка, в которую впечатался узор от складок тяжкой слябовой подушки, при виде полного отсутствия запасных деталей с Уралмаша… и все равно без выбора горбатился в приямках и колодцах, перебирая становящимися чуткими, как у слепца, большими черными руками каждый винт, каждую вилку роликодержателя, по миллиметру на коленях проползал весь километр от машины непрерывного литья до концевых летучих ножниц и клеймения – чтобы вращал валки и ролики, катился его стан, не превратился в протянувшуюся вдоль немого выстывшего цеха груду хлама, загадочного вследствие утраты назначения и не могущего жить в верном напряжении службы. Но опускались уже руки, не в силах охватить растущую скрежещущую, стонущую уйму всех новых срывов, переклинов и надломов, при виде криворукого, бездарно-равнодушного, ленивого, нахального молодняка, который заступал на смену старым мастерам, до полусмерти износившимся в работе – лишь для того, чтоб безразлично множить мелкие халатности, перерастающие в беды страшной тяжести. Даже его, чугуевская, собственная бригада более работать не хотела и выходила из повиновения с регулярностью вот этих бабьих течек из влагалища. Люди напитывались мертвой водой предрешенности и безучастия к тому, за что были ответственны, к самим себе, желавшим только жрать и спать и злящимся, что жрать и спать им вдосталь не дают. Вот это знание, что хоть ты тресни, а все продолжит точно так идти, как шло, угля не будет, хлынет безработица, уже как будто не страшило никого, но проникало в кровь и мозг баюкающей силой: страх оборачивался радостью исчезновения добровольного с земли, почти не греющей радостью повиновения безличной высшей воле, постановившей, что заводу навсегда не быть.

Мерзлый город-покойник, в котором уволили с комбината всех жителей, больше не был угрозой, перспективой – на глазах становился заключением прозектора. Он, Семеныч, нисколечко не сомневался, что московские гости пришли развалить комбинат и продать по кускам за границу промышленным ломом (никакой другой цели и смысла у этой породы не могло просто быть), и готов был с другими могутовскими могиканами голосовать за сохранение прежней власти до последнего. И когда заявились во плоти москвичи, вышел вместе со всеми на площадь врубить: не трогайте машины, производящей все железные опоры и основы, материал, без которого ничего невозможно построить: от ракет до последней поварешки несчастной – под вами же самими проломятся мосты и на головы рухнут вам кровли и стены, вы этого не понимаете и не хотите понимать, мы это понимаем, этим кормимся, тут

наше место службы, тут наш хлеб, другого мы не знаем и переделывать себя в торгашеское племя не хотим. Эх, был он от природы неспособен к выражению того, что ясно теплилось в нем говорением немым: имея поделиться чем, все точно понимая про смысл жизни собственной и назначение человека, в слова была бессильна переплавить это знание чугуевская безъязыкая душа.

В соединении с такими же, как сам, в сцеплении, в монолите имеющих одно и то же убеждение работяг куда как легче было высказать свои потребности и волю. Ну да, пожалуй, слишком уж нахально повел себя рабочий молодняк, но понимал Чугуев: накопилось – когда уже вот прямо речь заходит о распаде всего, на чем ты держишься, то выражения не выбирает человек. Он еще верил: будет разговор; он еще думал: стоя здесь, они, рабочие, не позволяют совершиться окончательному страшному, чего от Сашки новые хозяева хотят и что сейчас из Сашки за закрытыми дверями выжимают. Но вот как только вместо всех ответов на вопросы на них ОМОН с дубинками спустили, все стало ясно вмиг и окончательно: все едино полезут вперед и раздавят, и можно только уходить, как в землю, в нерассуждающую скотскую покорность под нажимом или уж брать тогда в ручищи арматуру и молотить по черепам вот эту власть, которая вжимает рабочий класс обратно в состояние до революции 17-го года. Только это уже без него. Он свое уже прожил, Чугуев: все, что успеет он увидеть, – это смерть завода; с каждой минутой бунта, забастовок будет расти слой вечной мерзлоты на стенках домен и машинах непрерывного литья – и сдохнет в сознании бесплодности прожитой жизни, порушенного смысла, самой плоти всех трудовых его, чугуевских, усилий – вот как с ним жизнь паскудно рассчиталась за все усердие, за верность, за любовь.

Как из песочной кучи пялился на полыхнувшее короткое побоище: как накатил и проломил омоновскую стену не стерпевший такого обращения с собою молодняк, как заходили бешено дубинки по головам и спинам безоружных, как без следа его Валерка канул в самой гуще и повалил и стал душить рабочих белый дым, и вот уже у самого в глазах отчаянно защипало, и зашлись в раздирающем кашле и они, старики, в отдалении от дома правления стоявшие смирно; затиснутый собратьями металлургических пород, так за ворота проходной и выбрел слепо в составе многоногого ползучего, хрипящего, перхающего гада. И чуть вот надышался впрок, промыл свои окуляры воздушной струей – уже в толпе глазами шарит: где Валерка? На каждый чей-то хрип и кашель оборачивается, как на Валеркин голос, чудящийся всюду. Чуть посвободней стало – заметался, вставая на пути, сграбастывая встречных:

– Валерка где, Валерка? Валерку видел, нет?.. С тобой же был – как «нет»?!

И все молчат, таращатся бессмысленно и головами отрицательно мотают – сгинул Валерка, там остался, на задымленной площади перед заводоуправлением.

– Ниче, ниче… – сплошь сверстники Валеркины перхают, с лицами красными, как сваренные раки. – Сегодня вы, а завтра мы вас палками железными! Срок только дайте! Поперек горла газы вам сегодняшние встанут, мусора!.. На кого тянете, фашисты?! За кого?! На свой народ – за пидоров московских?! Друзья, блин, школьные, росли в одном дворе!.. Да кто?! В пальто! Михеев Витька, не узнал? Володька Кривокрасов с «мебельного», он! Глаза в глаза мне через дырки – узнаёт! Вот узнаёт и бьет! Вот бьет и плачет!.. Чего?! «Приказ»?! Своих мочить – приказ?! Нет, как вы с нами, так и мы! Раз вы вот так – кровью завтра умоетесь!

Так и бредут в магнитном поле, из которого нет выхода, да и не надо выхода уже, а вот как раз наоборот – с неумолимостью их тащит, молодых, обратно на завод, и есть особое, больное наслаждение в этой тяге, все раскаляющей и раскаляющей всем мозг.

– Валерку – видел?! Сына?! – Один лишь он, Чугуев, поперек течения становится. – С тобой был – ну?!

Нет сил вздохнуть, растет оборванное чувство к сыну в пустоту. И видит: вон несут кого-то на руках – и что-то вклинилось рывком меж тесных ребер, как стамеска в щель, и с каждым скоком внутрь просаживало, как побежал вот к этим четверым, связанным ношей,

туловищем чьим-то… нет, не Валерка, щуплый для Валерки. Ну а Валерка где ж тогда?! и выперлась из толчеи еще четверка санитаров:

– Ну вот, Семеныч, принимай. В полном комплекте механизм, вроде исправный, не разобранный.

И обвалился перед сыном на колени: разбито все, валун, надутый кровью, – не лицо, но шевельнулся, замычал, дубинушка, и сразу истине исконной подтверждение, что если умер человек, это надолго – если дурак, то это навсегда:

– Это мы что? Согнули нас, хозяева?! С земли своей, с завода отступили?! – В бой снова вырвется, вырвидуб несломанный, огромной неваляшкой чугунной поднимается, руки товарищей, как плети, сбрасывая с плеч, – насилу вновь его в шесть рук дается усадить.

– Тих, тих, Валерка, тих! Ты посиди маленько. Это тебе башку, видать, встряхнули здорово. Дай только срок, Валерка, – будет! Отольются им наши кровавые слезки – умоются!

И слышит он, Семеныч, это все, с новой силой страха понимая: не удержать ему и никому вот эту безмозглую немереную силу молодых, которая сейчас, в них запертая намертво, ни на какое созидание быть направлена не может, и только так они сейчас и могут ответить власти, жизни вот самой на унижение и бессмыслицу существования своего – лишь беззаконно и уродливо, лишь кулаками, смертным боем.

– Стой, мужики, нельзя нам по домам сейчас! – откуда ни возьмись Степаша опять рабочую ораву баламутит. – А что с заводом может за ночь – не подумали?! А то, что опечатают все за ночь приставы с ментами! Все входы-выходы задраят изнутри! Такое может быть? Реально! Сейчас уйдем – обратно не зайдем! А для чего же выдворяли нас дубинками? И пустят только тех, кто в ножки им поклонится! Кто акции свои отдаст, вот только тот в родной свой цех иди горбаться дальше!

– Ну так а что нам, как?! Что ли вот к мэру с красными знаменами? Или на рельсы, как шахтеры: Ельцин пусть услышит?!

– Да что ж мы лаз на свой завод, пока не поздно, не найдем? – Степаша наущает. – Пока они там чухнутся-освоятся, а мы тут все, каждую трещинку в заборе – как у жены спустя пять лет совместной жизни!

– Так это ж вон сейчас мы – через третий ККЦ! И по путям через депо к заводоуправлению!

– Вот именно! Но только надо, чтоб сейчас! А как залезем, уже сами все входы-выходы заварим изнутри. Завалим так – бульдозером не сдвинуть! Ну, мужики, желающие есть? – Степаша бешено глазами всех обводит, а все и так уже чуть не дерутся за место в этой группе штурмовой: «Я! Я, друг, я! Да хоть сейчас меня бери – о чем базар?!»

Ну и Валерка, битый-перебитый, – мозг из ушей не вылез – снова, значит, в бойню, как под откос, как в прорубь, до конца! Будто с зашитым ртом, ни мускулом единым не дернулся за сыном он, Чугуев, – бессмысленность любых увещеваний понимая.

Гу-гуг-г-гель!

1

Черносмородиновой ночью ледяной прут сквозь кусты упрямые, бодливые – вниз под уклон, в бурьяне утонув, и шустро вверх по склону, вырвавшись из дебрей. И вдоль бетонного забора двухметрового в молчании крадутся. Встали, толпа парней рабочих, как один. Спиной к плите, отвесно врытой в землю, руки в замок – подножкой для собрата. Заброс на гребень. Могут кое-что. Один, другой, последний – и вот уже ползут по потолочным трубам муравьями и с ловкостью древесных жителей по ригелям спускаются. И тишина такая, что в животе прихватывает аж, и слышно собственное сердце, бьющееся часто и весомо, и оглушает собственная кровь. «Спокойной ночи, малыши, уснули, самое время тепленькими брать!» И, не таясь уже, шагают в простершейся на много километров пустоте, в чернильной тьме конвертерного цеха словно белым днем, настолько всем им тут на ощупь, до заусенца, трещинки знакомо. Три километра напрямую через цех и по путям примерно столько же еще. И другие еще штурмовые отряды сейчас к точке сбора шагают-крадутся – ручейками, речушками по цехам и железнодорожным путям. Взять телеграф и почту в свои руки. И вдруг какой-то звук железный в отдалении – вот вне пределов собственного ставшего оглушительно слышным огромного тела.

– Стой, мужики! Слышь, впереди шорохается кто!

– Да кто там? Показалось, дура!

Но снова стук тяжелозвонкий. Не шорох – поступь кованая там. Остановились, замерли – и стихло. Снялись вот только с места – и опять!

– Есть кто-то, есть! Кто может?

– Да работяга, кто! Свои, свои, раз так наверх залезли просто. Пошли, пошли – сейчас узнаем.

И в вышину уже все смотрят, в тьму высотную на марше. И вроде тень, еще черней, чем обнимающая тьма, там завиднелась впереди, на храмовой зиявшей высоте. И загорелась огненная точка, словно глаз, – ну зрачок сигаретный, понятно, – и все равно вот жуть прохватывает, необъяснимый холод, ужас тот из детства, когда их всех в кроватках на ночь Гугелем пугали.

– Э, слышь! Ты кто там такой?! – Степаша шепотом, шипением выкрикивает.

И железный удар им в ответ, сигаретный зрачок полыхнул на затяжке опять и царапнул тьму огненной пылью.

– Слышь, не молчи там, чучело, дай голос!

И ничего – молчание… гром железный в вышине – человечески необъяснимый хохот всем в уши ломится, гнет лопатой к земле. Вот будто ковш у них над головами свои стальные жвала расцепил, с пятиэтажной высоты обрушив металлоломную проламывающую груду, будто состав чугуновозов с рельсов опрокинулся и покатились под откос, взрываясь, шлаковые глыбы – и увидели: не человека, незыблемо вросшего в сталь меж мостками и кровлей, не бывает таких, не бывает башки у людей на такой высоте, не бывает трех метров от макушки до пяток. Освещалась костистая морда-череп затяжками, нос остался, но будто в лице – одна кость или только литое железо.

– Кто ты, кто?! – сквозь катящийся хохот, загулявшее эхо Степаша надсаживается – голос рвется сквозь щель и уже не проходит, у губ обрывается.

– Хозяин твой, хозяин! Новый, старый и вечный! Бог всех богов твоих чугунных, сталевар!

– Гуг… гу… гу-гуг-г-гель!.. – самый зеленый из всех них, штурмовиков, вмиг дурачком становится, от стужи помертвев, крик из себя насилу выжимает, обеспамятев.

– Я его сейчас, этого Гугеля! – Никаких великанов, чудовищ, восходящих из донных отложений наследственной памяти, не боится Валерка. – Фонарь мне, фонарь! Счас посмотрим, какой это Гугель! – И срывается с места, к которому всех приварило; свет фонарный – рывком в потолок, на мостки: кто бы ни был там, что за шутник великанского роста, человек или не человек – мимо лесенки спустит сейчас за такую потешку глумливую… только нет никого уже на верхотуре – пустота в белом поле наведенного света. И вот кто это был? Или что это было?

Как рассудок миллионов современных хозяев компьютеров, тепловизоров, атомных станций приколочен гвоздями «НЛО» и «пришельцы» к действительности и во многих местах подымаются ночью могильные камни, исцеляет святая вода и душистой смолой сочатся иконы, так свои есть в Могутове у железных предания о всегдашнем присутствии, осязаемом веянии силы, и одно из них, главное, страшное, как и все, во что верят язычники, – о хозяине подлинном, первом комбинатском директоре Гугеле, людоеде гигантского роста, что стоял в 31-м над самой котлованной бездной на Магнитной горе, и решал, сколько русских положить в основание завода, и клал – сваебойной рукой – рядовых той бесплатной трудармии без разбора на зэков и истово-пламенных добровольцев строительства, деревнями, родами, бараками непрерывно подбрасывал в адову топку – от мигнувшей во мраке ледяной искры Замысла до алтарного зарева, грохота непрерывного тока броневого листа, и вот сам полетел бы, машинист, в ту же топку, если б стройка запнулась хоть на час, хоть на дление, если двигаться все начало бы со скоростью меньшей, чем вторая космическая, если б в срок он не выдал социалистической родине все, что он ей обещал. Столько стали, наваренной на рабочих костях, сколько надо ей, родине, чтобы из лапотной, пахотной и деревянной стать железной до несгибаемости, непреклонности ни перед кем. И, все выдав, исполнив, сам в огонь полетел – сам объявлен врагом был народу и вырезан изо всех групповых фотографий, из могутовских святцев, которые он открывал, расстреляли строителя за шпионаж и вредительство, только весь – даже после расстрела – не умер, настолько перешел и впитался своим чистым духом в саму плоть завода: каждой ночью встает и обходит владения свои; можно встретить его по ночам – тяжело, на железных подметках ступающего великана в пальто, да и днем чистым духом приблизится, встанет за спиной работяги невидимо, за разливкой следя через синее стекло, и как гаркнет со своей высоты, приморaживая к месту: «Что ж ты, гнида, за корочкой ни черта не следишь?! Почему не играет на двух сантиметрах от стенки?! Второсортица, падла! Снова брак при прокате?! Раздавлю тебя, пыль!» – крановщиков, разливщиков, вальцовщиков хватала иногда огромная рука, так и туда бросая, что от человека не оставалось вовсе ничего, на валки, под валки, на налившийся алым сиянием сляб на рольганге, конвертеры взрывались, как хлопушки, под невидимой ногой, окатывая огненными брызгами литейщиков, до костей их проваривая и приваривая к полу вонять сладковатым прожаренным мясом; могутовских детей пугали этим ужасом ночным: «Будешь мамку не слушаться – как придет к тебе Гугель…»

Разделились, короче, во мнениях, кто там был – человек или Гугель – и что им, авангарду рабочих бойцов за завод, сообщить хотел этим появлением своим: вот кому он завод отдает, у кого забирает – у захватчиков диких московских или вот вообще у людей, отчуждая все домны и станы в свою замогильную собственность, наказав всех железных за их вырождение, ничего не оставив бесхребетным и млявым рабочим для жизни.

И смеялись, конечно, одни над другими, что наслушались бредней стариков суеверных, но сами вот, сами человеческого объяснения найти не могли. Человек? Тогда кто? Чтобы так вот шутить? «Ну а делся куда?!» – «Да на кровлю ушел вверх по лесенке, дурочка!» – «Ну а рост, рост три метра?! Все же видели, все!» – «Да в темноте не то еще покажется!» – «По

башке менты били? Котелок повредили – лечись!» – «Может, с газов все это, которыми нас? Что они там такое пустили на нас? Есть такие, с которых – видения». – «Да какие видения?! Ясен перец, что перец обычный, черемуха! Глотку жжет и глаза!» – «Все равно дядя Степа как минимум! Кто у нас такой рослый, кто знает?»

– Да ну хватит ла-ла! – еле сглатывает Степа клокотнувшую злость. – Дело кто будет делать? Ну вот чего такое было-то, чего?

– А, что ли, не было, Степаш?

– Ну было! Ну и что, так давайте назад повернем теперь, а?! Чтобы Гугель нас всмятку, не дай бог, своей пяткой железной. Ну вот кто, кроме нас, свой завод сбережет?! Может, Гугель?! Ау!

2

Растирают подошвы гранитную крошку. Угловатые кучи камней под ногой как на тормоз поставлены: нажимаешь – и туго скрежещут в колодках, рассчитанных на столетия службы, но нет-нет и утопишь в пустоту педаль спуска рокочущей осыпи. Вверх по склону Магнитной горы черно-синей ночью карабкаются – кто давно уж ко взлету на лифте привык, на ракетоносителе, все другое уже не устраивает: слишком медленно, слишком настойчиво, оскорбительно напоминает о давно позабытой, отмененной телесности, о земном их замесе, из того же податливо-ломкого теста, что и все земнородные, – что еще не совсем они, не навсегда сведены к чистой власти, господству без телесного марева, без оболочки, что когда-то где-то способна испытывать притеснение трудностью – унижение вообще невозможностью получить сразу все и любое, про что только помыслишь: «мое». Очень длинный один, долгоногий, как цапля, нескладный – тот, кто первым идет и прицепами остальных за собой в гору тащит, – наступает на шаткую кучу, обрывается вниз, обдирая колени и локти, и подхватывают тотчас его берегущие руки, как ребенка огромного: «Все в порядке, Артем Леонидыч?»

И уже на вершине они, в полный рост свой пугающий распрямился «Артем Леонидыч», он же Гугель ночной, царь Магнитной горы, вечный бог всех окрестных пространств; вид на город открыт с верхотуры – вдоль реки по равнине размазанную лягушачью икру фонарей, окон многоквартирных домов и огней сортировочных станций в тьме кромешной падения свободного с самолетных небес – протяни и возьми, зачерпни – уместишь огневое скопление низовой этой жизни в горсти… тянет к самому краю Артем Леонидыч второго: «С фонарями сюда». К винтовому провалу карьера, в котором можно захоронить целый город, – в пропасть следующий шаг, в пустоту опрокинутой, врезанной в глубь земли многоярусной башни, по лекалам расчерченной, гармонической незаживающей раны колоссального взлома и добычи из матерых гранитных пластов. Свет сильных фонарей вылизывает срезы доисторических, ацтекских горизонтов, вниз спускается по круговым великанским ступеням, доходя до предела сужения, затопленного непроглядно-дегтярной донной тьмой.

– Вот отсюда, Ермо, начинался завод.

– Эх, чую, Темочкин, потащит нас на это дно вот этот комбинатик.

– Ты ничего не понимаешь. Что такое сталь? Сталь, сталь, металл и топливо – вот истинные деньги человеческого мира, вечно живые, вечно покупающие. Все остальное – резаные фантики. Только помыслить: миллиард – и вот он, миллиард. Это рассудок твой тебе вот этот миллиард дает в кредит. А вот это – порода. Кредитов она не дает. Природа только то тебе отдаст, что ты сам у нее сможешь взять. И квоты на добычу самые жесткие – повсюду упираешься в конечность и невосполнимость, и хоть обратно в шкуры одевайся, чтобы выжить.

– Что-то, Тема, тебя понесло в экологию.

– Не в экологии дело, а во власти над реальностью, которая прирастать должна, а не наоборот. А власть над пустотой прожранного – это не власть уже, а нищета. Вся денежная масса мира сегодня обеспечена реальными активами процентов от силы на десять – пятнадцать. Что мы сейчас имеем – цифры на счетах? Виртуальную сущность, которую мы бесконечно гоняем по миру, как лысого у себя в кулаке? Взяв комбинат, мы власть над плотью денег получаем, вот над причиной их возникновения, дебил.

– Охрененная власть! Всю жизнь о такой вот мечтал. Взять на прокорм сто тысяч ртов голодных, которые уже сегодня на куски порвать тебя готовы. И груду ржавого металлолома невхеренную, которую чтоб оживить – нет у нас таких денег сегодня вообще. Угля жрет, электричества немерено… – загибать начал пальцы, кляня аппетиты ненасытно прожорливой твари, махины, из-под которой им живьем уже не выбраться. – И от всего зависеть непрерывно: от нефтей, валютных курсов, банков, индексов, погоды, от ипотеки в штате Флорида и наводнения в Новом Орлеане. И с домнами ты ничего не сделаешь, со спутника не сбросишь на Багамы. Мы, Тема, были теми, кто имел бюджет Российской Федерации, а теперь нас, как тряпку, все будут крутить, чтобы этот бюджет оросить. Вот не готов я как-то на такие донорские жертвы.

– Что, надорвался уже, да? Струхнул, еще не вставив? – Рывком обернулся, давяще навис. – Вы вбили себе в голову, что можно только так, что либо ты баран, либо мясник, а человеком никогда не станешь. Хозяином своей земли, хозяином завода. Что те, кто что-то производит, пашет, – это рабочий скот, навоз, судьба у них такая. А ты, пока ты банк, имеешь все, эта система тебе сразу вываливает все, что пожелаешь: держит рублевый курс такой, который нужен нам для наших форвардов, и ГКО вот эти сраные печатает, чтоб завтра в собственном дерьме и захлебнуться… круговорот мертворожденных и бесплодных денег. Сколько можно гонять миллионы дохлых сперматозоидов? Ну насосешься под завязку, на разрыв. Такой же бесполезной тварью и останешься, навозом тем же самым, на который весь изойдешь, когда настанет срок удобрить собой землю. И нехера оправдываться тем, что по-другому ты не можешь, – иначе от кормушки отлучат. Это твой выбор, твой, надо ломать систему под себя, чтоб стало, как надо тебе, а не ей от тебя. Это мой завод, Дрюпа… Я родился в Могутове. Это моя земля, ее мой дед разведал и Сталину в зубах принес проект вот этого всего. Словно Сибирь Ивану Грозному… Не говорил, но думал непрерывно. С детства. У нас в детдоме на заборе была надпись – черной краской, огромными буквами – ТЫ БЕСПОЛЕЗЕН. И я ходил мимо нее два раза в день, и у меня одно стучало в голове, как дятел: я должен доказать. Открытие сделать там, изобретение, стать космонавтом – в термосферу выше всех… ну что еще тот мальчик мог себе представить? Сделать что-то такое, что могу один я. А потом нас, щенков, лет в двенадцать повели вот на этот завод – предназначая нам такое будущее, да, прекрасен труд советских сталеваров, бла-бла-бла, ну а куда еще девать нас было, беспризорных? В ПТУ. И я увидел льющуюся сталь, она стояла у меня перед глазами, вечно живая, вечно новая, как кровь, метаморфозы эти все расплавленного чугуна, и ничего я равного не видел этому по силе, вот по тому, как может человек гнуть под себя исходную реальность, – это осталось тут, в башке, в подкорке. Все, что я делал в своей жизни, еще и сам того не зная, я делал, чтобы откупить себе вот это все… Чего ты боишься, Ермо? Все потерять боишься? А что такое это «все»? Того, что жрать тебе с семьей будет нечего, боишься? Что дочку с сыном в первый класс не соберешь? Ты боишься за свой лишний жир. И поэтому надо купить комбинат за копейку и скинуть поскорее индусу за рубль. Что ж без толку горбатиться – лучше уж сразу в яму и баиньки.

– В наших реалиях, кстати, логика железная.

– У, мать твою, да с кем я говорю? – заметался по гребню и, развернувшись, накатил, подпихивая очкастого Ермо к самому краю. – Тебе чего, обосновать реально и конкретно, что сколько будет стоить через год и где кто будет через десять лет? Я тебе что тут – ком-

сомолец первого призыва? Я стопроцентный сопроматчик, ты забыл? Я целиком сувайвер, выживальщик. Ты в состоянии видеть будущее дальше, чем на год вперед? Ну ринулись с Брешковским вы в нефтя. Брешковский ручки потирает, чуя перспективочку подорожания барреля за сотку. Наш дядя Боря, царь демократический, протянет максимум еще года четыре. Один раз в президенты его на больничной каталке протащим, чтоб получить вот это все, про что мы договаривались, а дальше все, износ материала. Кто будет следующий, ты можешь мне сказать?

– Следующий будет лысый, – пообещал Ермо авторитетно. – Горбач был лысый, Ельцин – волосатый. Я, кстати, вот лысый, а что, Тем?.. давай.

– Лысый, лысый. И я тебе скажу, какой он будет, – подтянутый, спортивный, аккуратный действующий гэбист, отличник боевой и политической, с приказной четкой речью и несущий что-то такое прочно-обнадеживающее людям, как дядя Степа веру во всесилие и доброту родной милиции, с лицом таким, чтоб каждый русский мог подставить в пустой овал свою физиономию.

– Вы его что, с Березой уже выбрали?

– Это надо быть яйцами глист, чтобы верить, что можешь в Кремль кого-то поставить. Это поток, Ермо, поток народного заказа, и он выносит наверх того, в ком есть потребность именно сейчас. Сейчас потребность в том вот самом, что мы потеряли. В государстве, которого как такового сейчас нет вообще. Это сейчас силовики в загоне и обслуживают нас, без вариантов отдавая в наши руки недра и заводы, поскольку сами на балансе и держать не в состоянии. Как ты там говоришь: кто имеет бюджет, тот и правящий класс. Дрюпа, держать бюджет будут они. Они вернут, «обобществят», – взметнулись в воздух руки с пальцами «кавычек». – Основные потоки. Кто там у нас обсел сейчас все нефтяные лужи от Январска до Ноябрьска? Олег Ордынский с Мишей Ходорковским? Ну вот их… – И пошлепал ладонью в кулак недвусмысленно. – И никаких залоговых аттракционов и прочих инвестиционных шапито, а право на убийство, раз, и право на посадку, это два, вот какая у них монополия, самая главная.

– Так ведь и комбинат забрать с такой же легкостью реально.

– А комбинат не скважина – запарка, геморрой. Кто только что мне это говорил? Для сталеваров во всем мире норма прибыли – семь-восемь процентов, предел. И на заводе ты как на подвод ной лодке: нажал не на ту кнопку – и хлынула вода в открытые кингстоны. Не говоря уже о том, что к каждой такой лодке по сотне тысяч работяг пожизненно приковано. Затопишь лодку – это будут орды лишившихся работы и жратвы. Как раз и хорошо, что можно в случае чего спихнуть ответственность на нас. В систему подчинения можно все включить, но комбинат есть сам система. Автономная. Заточенная изначально на управление изнутри, а не из центра сверху. Это как самая далекая колония в империи, с той только разницей, что нашу автономность не удаленность в километрах от метрополии обеспечивает, а степень непонятности самой твоей машины для всех, кто в полном ауте и домны от мартена не может отличить. И ты в этой машине – деталь незаменяемая. Что будет с этим ледоколом, то и с нами. Взаимная зависимость смертельная. Ты гонишь полтора миллиарда виртуальных денег, а ты попробуй город на плаву сталелитейный удержать. Построить государство в государстве – вот где драйв истинный, Ермо, и понимание, кто ты есть на самом деле. И еще одно главное – в чем наш ресурс. Вот эти самые десятки тысяч работяг, машине приданный особой человек, он ничего не понимает про добавленную стоимость и сокращение издержек, мы за него все это будем понимать, надо всего лишь изначальный, отведенный смысл ему вернуть, завести в нем пружину вот эту опять, к отреставрированной машине прикрепить и тупо кормить хорошо. Он дешево обходится, рабочий, – в шестнадцать(!) раз дешевле, чем во Франции, Германии, Канаде, дешевле только даром и в Китае. Этот народ, он даст тебе такую синергию и прорыв, что это уже будет космос натуральный.

– Если только на части прямо сейчас не разорвет. А к этому все, к этому идет.

3

За ночь власть на заводе сменилась, рабочим – вся власть. Весь ОМОН у правления в кучу стеснили ломовым своим натиском – пусть с дубинками все, с автоматами, а вот вмиг дурачками заделались, отморозило руки на крючках спусковых, только обдало их дыханием рабочих в упор.

Баррикадами за ночь перекрыли все въезды – уж что-что, а ворочать бетонные блоки за железные ушки умели, в три ряда их составили, в стену высоты двухметровой на главных воротах, арматурными связками ощетинились, ломом, кирпичей навалили, чтоб метать их в ментов; надо будет – из слябов завтра выстроят стены, уложив их, как маты в спортзале.

Только дальше вот что – дальше собственных этих баррикад и не видят. Сколько так длиться может? Сколько можно по «ящику» в новостях про себя репортажи смотреть и лощеные морды новых властных скотов, выходящих к народу, наблюдать по ту сторону голубого экрана и пустые посулы их вживе из-за стенки бетонной выслушивать? Столько так вот в осаде просидят днем и ночью – без жратвы, без всего? Дети мал мала меньше у каждого, жены. Может, только того им и надо, хозяевам новым, – чтобы все они тут, на своих баррикадах, передохли естественной смертью, и бери не хочу тогда вымерший, опустевший завод?

Сутки так вот проходят, другие, и на пятые сутки – движение на том берегу, по мосту над стальной рекой, по которому протянулись в тумане отвернувшиеся от воды фонари в ореолах белесого слабого света, похожие на пушистые головки одуванчиков. Зашумели моторами и вспороли мглу лезвиями раскаленных злых фар членовозы, кареты, джипы сопровождения власти; поехали все: гаишники на бело-синих «Жигулях», губернатор и мэр на своих черных «Волгах», целых двадцать машин «скорой помощи», вездеходы защитных окрасов, тащившие полевые, с дымящими трубами, кухни… поползли по мосту вереницей в понимании, что сделалось на заводе совсем уж не то, – старики еще помнили бунт и расправу 63-го года, перемалывающий скрежет и стальные ручьи бронетанковых траков – и уперлись в последнюю, непроницаемую полоску злого воздуха. Распахнулись все дверцы, и земные правители к ним, рабочим, пошли непривычно пешком, принужденно, набыченно, с дополнительным явным усилием отрывая ступни от земли, проходя трудный путь к «обретению консенсуса», оделись поскромнее, в курточки, без меховых воротников, но уж выкорма, лоска наеденных ряшек не скроешь… И как будто затворы плотин поднялись одновременно – прорвались, разом хлынули отовсюду рабочие ручьи, захлестнув, затопив площадь перед воротами, не вмещаясь, давясь, прибывая; спрессовались в халву, но никто меньше не становился, не чуял тесноты и удушья в несмети – напротив, вырастал и прочнел сам в себе, ощущая прямящую силу в сцеплении со всеми своими: вот мы все, наша правда, не пропрешь, не задавишь теперь.

Меж Жоркой Егзарьяном и Борзыкиным зажатый, Чугуев озирался и не видел ничего, кроме поля упрямых рабочих голов, кроме синих сатиновых и землисто-зеленых брезентовых спин молодых и согбенных, видел сына Валерку, что залез на фонарь и висел под плафоном, обнимая ногами железную шею.

Грузовик подогнали активисты рабочие, и в него, на него забрались делегаты – выше массы рабочей, над нею стоят, но вот жалкой, жмущейся кучкой, с беззащитными новыми лицами и насилу нацеженным выражением тактичности, дружелюбия, участия, приглашения выслушать и поладить добром. Мэр могутовский вон, Чумаков, вон московские гости – мышцы в лицах холеных, прежде производившие ровную полуулыбку презрения, занемели теперь, и другие мышцы в лицах невольно работали, заставляя приметно подрагивать кожу – в ожидании будто удара, попадания в голову чем-то прилетевшим тяжелым. А на

самом краю, над откинутым в пропасть бортом, притулился, застыл в напряженном упоре – не сорваться с платформы в рабочее море – чугуевский Сашка, беспризорный, отвязанный, ничему, никому уже тут не хозяин. И вот не было жалко Анатолию сына сейчас: сам себя так поставил – жрешь сначала своих, работяг, а потом жрут тебя – кто умней и сильнее, чужие; вот тогда-то все и началось, когда Сашка начал перерождаться в носителя собственной, узкой эгоистической правды; труд в сознании русских людей – вырождаться из естественной, данной человеку потребности – внятной каждому тяги к созиданию прочных изделий – в жадноскотский инстинкт присвоения и обладания. Каждый, кто присвоением живет, забывает о том, что уже он – хозяин вещей, и чем злее грызется за частную собственность, тем только больше похабит растения природы и изделия рук мастеров.

Целый замгубернатора области долго проигрывал ту же пластинку: что пришли москвичи на завод по закону, что противиться этому баррикадами и арматурой – это значит самим встать против главных законов страны и подпасть под ответственность; что «Финвал-Инвестбанк» – это добрая сила, которая приведет в регион миллионы рублей на поправку могутовских станов и домен, на постройку больниц, поликлиник и школ, что не будет, он голову лично кладет, никаких увольнений… но вот как-то все так ненадежно-виляюще, скользким мылом в руках излагал, что своими посулами поднял брожение, клокотание в могутовской массе, и уже раскрывал рот безмозглой рыбиной в нарастающем гуде и реве. Но как будто бы что-то стряслось у него за спиной – закачались и загомонили иначе возле самой платформы ряды работяг; задрожал, заискрил от высокого напряжения воздух, как под самой мачтой ЛЭП, и почуяли все, кто стоял на гектаре, дуновение силы – вот каким-то особым, отведенным для этого органом слуха, железой, что у каждого есть, вот хребтом, даже он, Анатолий, находившийся так далеко от передних, почуял животом непонятное «это». Кто-то новый вошел в онемевшее столпотворение, как в воду, как таран, ледокол, и вот тут всем стало на площади тесно по-настоящему, так себе много места потребовало это явление. И тем с большей готовностью расступались железные перед этим нажимом, что ничем человечески ясным, понимаемым каждым двуногим как сила – там погоны, оружие, проходческий щит – это требование не было подкреплено, ни на чем не держалось, кроме полного, голого, безоружно-душевнобольного отсутствия страха. Это было его – ну того, кто пришел, – естество, как если бы в толпу вломилась лошадь, и наконец и он, Чугуев, увидал – над головами всех – качавшуюся голову, жирафа, так несуразно высоко торчал тот над толпой, двухметровый жердина, и жалкий, и страшный своей невместимостью в человечьи рамки по росту, по облику, с чем-то внутренним сильным в себе, совершенно отдельным от облика, вот таким, что магнитило всех, заставляя молчать и заслушаться.

– Так ведь он это, он! – крик мальчишеский чей-то в толпе. – Ночью, ночью в цеху! Гуг-гу-гугель!

Протолкнулся к платформе и – руку, чтоб его затянули наверх, еле вытерпел краткое промедление встречающих рук, неделимую долю секунды, что ему – как недели простоя; подтянули, взлетел с неприязненным, нескрываемо всех презиравшим лицом – всех его тормозящих, от него отстающих, скудоумных, дебилов наверху, на платформе, и внизу, на земле, вот еще вырос вдвое над всеми, вырвав сразу из рук окончательно отключенного замгубернатора рупор, и смотрел на рабочие головы сверху, как на кладку, которую будет сейчас разбивать и в которую он задолбался долбиться, как на глину, которую будет месить и, вот как бы она ни была неподатлива, все равно из породы могутовской сделает то, что надо ему. Крикнул что-то беззвучно, позабыв нажать кнопку и немедленно снова скривившись: вот тварь! матюгальник, и тот подают невключенным! Убивающе ткнул пусковую и двинулся в глубь рабочего мозга сверлом:

– Всем рабочий привет, гегемоны! Три минуты молчания, а потом что хотите творите, вы тут сила и власть, и никто вас с завода, никакие ОМОНы не выкинут. Я – Угланов Артем

Леонидович, вот тот самый владелец заводов, газет, пароходов, который вас всех с потрохами купил. Вон он я, гад, пришел разграбить ваш завод. Распилить на куски все прокатные станы и продать их на вес за бугор. Вас на улицу выкинуть, чтоб вы сдохли от голода. Так вам сказали ваши прежние хозяева. Ну допустим, я вор. Вор, вор, вор, мироед и жучило, поискать таких надо! Да только вор, он выгоду имеет! Что такого могу я на вашем заводе украсть? Восемь домен огромных, которые чугуном закозлели? Станы мертвые, да, на которых не то что валки, а станины от старости треснули? А в третьем ККЦ чего?! Металл под кровлей, наплавленный за годы! Такие трещины – кулак засунуть можно! Все стыки по нижнему поясу – швах! Опорные фасонки – в любой момент любая оторваться может! Ну и сколько цехов таких, где не сегодня, так завтра вам на головы кровля обрушится на хрен?..

Откуда знает это все, Чугуев поражается. Совсем вот на заводе новый человек? По самоей своей породе изначально, неизлечимо для завода чужеродный. Как будто сам горбатился в приямках и колодцах и на карачках ползал под клетями и станинами.

– Я, что ли, в этом виноват? Я, что ли, полвека стальные пролеты растягивал? Я в аварийные цеха вас, как баранов, загонял? Я, что ли, домны столько месяцев таким говном кормил? Вместо нормального КСНР лишь бы только купить где-нибудь уголек по дешевке? Я, что ли, так вот рассуждал, что это все сегодня еще выдержит, а завтра тут меня уже не будет – и гори оно синим огнем?! Я тут рулил заводом десять лет? Ну и кого сейчас отсюда гнать? Меня?! Или вот тех – не будем пальцами показывать? И вот он я, залез вот в эту вашу жопу мира и поживиться чем хочу – дерьмом? Вы что ж – «Норильский никель»? На мировых запасах платины сидите? Кому вас надо, а?! Да во всем мире вас никто теперь не купит даже за копейку, никакие буржуи заморские! Я заплатил правительству России сто миллионов долларов за акции Могутова. А оборудования тут у вас, железа на десять – двадцать миллионов, если я его, допустим, захочу куда-то там как вторсырье продать. Ну, посчитали мой навар? Купил за рубль и продал за копейку. Тогда зачем я вообще сюда пришел? Ответ один: поставить дело. А потому что тупо больше незачем! Вы тут сейчас стоите и думаете все: явился хер с горы, спаситель комбината самозваный. Не верите – и с полным правом! Буржуй же ведь московский, который со своих вершин ни разу не спускался до земли. Рефлекс безусловный сработал. Хер ты в чавку, Угланов, получишь, а не наш комбинат! Горбатиться на вора не хотите. А на кого хотите? На государство, да, великую идею? Нет больше государства, нет абсолютной силы, которая нуждалась в вашей стали, в самолетах и танках из могутовской стали. И на кого тогда? На Сашу Чугуева с Буровым? Так они пятилетку уже тут у вас отрулили. И где вы, и кто вы, и с чем вы? Хозяева вам ваши говорят, что это мы там из Москвы все развалили: систему сбыта, связи отраслей, задрали цены до небес на все, что только можно, на электричество, на газ, на уголь, на железную дорогу, что это мы перекупаем вашу сталь у Саши за бесценок, что это мы даем кредиты под грабительский процент, что это мы вогнали вас в долги. Я даже этого не буду отрицать. Пальтишко это видите? – рванул за ворот на себе невзрачный серый плащик. – Стоит тысячу долларов. Полугодовую зарплату вальцовщика! И ту, которую вам всем сто лет уже не платят. Да только на ваших хозяевах точно такие пальтишки. На машинках таких же они ездят, как я. Так что же это получается? Что Саша Чугуев, что Тема Угланов! Один и тот же хер, только вид сбоку! Они вам что все это время заливали, Сашка с Буровым? Что спрос на сталь в России нулевой, что во всем мире спрос упал почти до нуля. Поэтому вы нищие? Да тогда бы у вас были горы неотгруженных слябов и стального листа. Где они, эти горы? Не вижу! Да потому что шли отгрузки, шли, бесперебойные. В Германию, в Турцию, в Польшу. Не похоже на правду, которую знать не хотите? Да, я перекупал весь этот ваш металл – вот у него! Так я на то и банк, «купи-продай». А он себе в карман как будто ничего не складывал. И где все это сложенное, где? В ремонт цехов и кислородных печек вложено? Ну и чего? Вы за него стоите? За его миллионы на секретных счетах за бугром, те, которые вашим горбом нацедил? Железные

люди – железная логика! Убиться лбом об стену за того, кто вас и обирал, мозги вам ежедневно трахал с перестройки. Поймите вы одно, элементарное, что сами понимать должны: быть может, лучше жить вы подо мной не станете… допустим!.. но ведь и хуже, чем сейчас, уже не станет. Так и так подыхать! Вас всех стращают массовыми увольнениями. Так половина вас уже уволена по факту! Ведь половина мощностей стоит! На каждую исправную машину вас по десять, по двадцать человек дармоедов, там, где справиться может с машиной свободно один человек. Один вот этот пашет, а остальные водку жрут и анекдоты травят. И тащат, тащат через проходную все до последнего гвоздя – на вторчермет чтоб за копейку сдать и еще две поллитры купить и залить себе мозг этой водкой, из себя чтобы выжечь к хренам изначальный нормальный человечий инстинкт созидания. Вы ж скоро сами, сами, без меня все свои станы по кускам растащите. На валках молибден, никель, хром – можно это все скупщикам сдать и детей своих раз и другой накормить, пока все до конца не прожрете! Так вы завод свой любите и за него стоите, пролетарии?! – Гвоздил и раз за разом попадал: Чугуев проседал под этими ударами и чуял, как чуть ли не каждый в могутовской кладке рабочий вот так же, как он, подается. – Так вы завод свой из говна хотите вытащить? Меня-то, понятно, заслали ЦРУ и марсиане. А вы откуда сами прилетели?! С Марса? И тут есть только два, ребята, варианта. Можно оставить все, как есть, можно оставить тут за каждым из вас вот эти вот рабочие места, которые на самом деле никакие не рабочие, и продолжать у государства клянчить деньги на зарплату. Стоять на паперти с протянутой рукой. И вам так нравится, вы к этому привыкли. Получайте и дальше раз в год подаяние. А завод будет гнить, вы его же и топите. Потому что сегодня завод, он как плот, может сотню людей только взять, тех, которые будут вот сами грести, а возьмет если тысячу всю, то под тяжестью потонет. И отсюда второй вариант, он тяжелый, он страшный, вы его не хотите – половину отправить из вас в неоплачиваемый отпуск. Мне нечем вам платить зарплаты, государству – тем более нечем, вот поэтому-то оно вас мне и продало, чтобы я вас кормил – не оно. Да, у меня есть «Мерседес», да, у меня есть миллионы. Да только что же я их – жру, в себя закидываю лопатой? Деньги – это же жидкость, это кровь, это топливо, которое в машину надо заливать, чтобы она и дальше ехала. Я могу вам всем выплатить разом сегодня зарплаты, всем восьмидесяти тысячам, вот один только раз – ну и все, нету больше моих миллионов. Вы один раз нажретесь, а с машиной что будет, со станом, с конвертером, с домной? Вот и стоит передо мной выбор – или вашей машине быть живой или сытой, или вас накормить. А зарплата выплачивается с прибыли. По ре-а-ли-зации! Вот вложиться в железо надо будет сперва, а потом уж в людей. Вот сперва научиться такую прокатывать сталь, какую на сегодня больше в мире не делает никто – ни немцы, ни французы, ни китайцы, и предлагать ее на рынке во всем мире так задешево, как больше, кроме нас, никто не сможет предложить. Без вас я этого, конечно, не смогу, без вас, людей, все комбинатское железо – груда хлама. Но и вы без меня. Потому что я снег эскимосам зимой продам, бедуинам в пустыне песок, ну а вы никому даже сталь свою втюхать не можете. Поэтому вы мне нужны довольные и сытые. Поэтому вам нужен я. Я, я, головка от часов «Заря». Взаимная зависимость смертельная. – Рассверливал рабочим череп в мегафон, вскрывая, пробивая слой за слоем, этаж за этажом, в спокойствии, в уверенности полной, что скоро он дойдет сверлом до мозжечка, до корневой породы спящего инстинкта пробурится. – Но сперва надо выбрать тут каждому. Сегодня не уволим треть рабочих – физически не будет завтра самого завода. А уволим – получим возможность вложить миллионы в ремонт и отладку машины. А те, кто остаются на заводе, лучшие спецы… вы сами знаете их тут, кто лучшие из вас… вот те тогда и будут пахать и за себя, и за уволенных. Иначе никак. Вот все! Теперь решайте сами. Я никакого рая вам не обещаю, потому что не будет его на земле никогда. Все одно работяге вставать каждый день в полседьмого. Но поднять свой завод и самим себя снова через это начать уважать – вот задача реальная. Ну и что мы решили? – Засадил, не давая им продыха, будто надо

решать это было сейчас. – Вот чего вы стоите и меня на завод не пускаете? А я вам скажу почему. Потому что вам страшно! Боитесь жизнь свою менять, судьбу свою взять и сломать об колено. Вы так привыкли, что вас все имеют в хвост и гриву – Чубайс, правительство, московские банкиры, – что уже никакой другой жизни для себя и помыслить не можете. У вас одна мыслишка – не было бы хуже. Так вам хоть жрать дают, а я сейчас у государства эти ваши акции пришел и откупил – надежды больше нету никакой – на большого и сильного. Ну а сами вы, сами? Не большие и сильные разве? Но в одиночку жить вам страшно! Своим умом жить страшно. Вас этот страх погнал на баррикады, а не желание завод от разорения уберечь, никакая не гордость рабочая – что вас, как крепостных скотов, с заводом вместе покупают. А когда ваших дедов забросили в эту голую степь? Построили бы они вот здесь завод с такой психологией?

– Тогда была идея, – по-стариковски кто-то хрипнул из толпы.

– Идея? А вот тебе моя идея. Моя страна, которая имеет в недрах всю таблицу Менделеева, сегодня на карачках перед миром ползает и клянчит: «Купите мою нефть, купите мою сталь хотя бы за копеечку», – вот в чем моя идея. Это дело менять. И самим диктовать, что почем. Вот я стою тут перед вами – человек, который столько денег насосал, что и за жизнь теперь не переваришь. Деньги что – сколько ты их ни жри, а все равно на выходе одно только говно, а эти деньги могут кровью быть живой, которая вот эту машину разгоняет. Это как с бабой – можно изнасиловать, можно купить и выбросить через неделю на помойку, как одноразовую грелку, а можно – если ты нормальный человек – на жизнь до смерти под одной крышей заложиться, чтоб щи-борщи варила, да чтоб род твой продолжался. Ну вот что нужно человеку, мужику прежде всего? Что, только жрать, подмять как можно больше людишек под себя? Мужик живет инстинктом созидания. Не производишь ничего – считай, ты не живешь. Ну, это как потомства не оставить. Вот ваш прокат, ваш рельс – это такое же потомство, это ваши стальные дети, на которых и после смерти держится весь мир. Вот я зачем пришел – вот это вам поставить. Я все сказал, спасибо за внимание.

Раскол

1

Что с ними сделал этот человек. Вломил – и сразу грохот ледохода, ударная волна разбегом по цехам – бегущая по тверди, под ногами, растущая невидимая ломаная трещина, и вот уже кричат, друг дружку окликают, как со льдины, челюскинцы – папанинцев: ау! С одной кричали тысячи, бригады: «За Угланова!». С другой – и тоже тысячи – надсаживали глотки: «За Чугуева!», до дыр, до пустоты проигрывая старое: «Родного! Завода! Ворам не отдадим!» И третьи еще были – большинство, которое как в воду провалилось, не зная, куда плыть, не то, наоборот, осталось на земле, под придавившим всех сомнением: за кого? – впустую не желали глотки драть, толкались и простаивали сутки на собраниях, выслушивая прения враждующих сторон – акционеров, рабочими мозгами усиленно скрипя и ни на что бесповоротно не решаясь. А баррикады вот они – остались, ничьей, ничьей нет власти над заводом, и сам завод стоит и умирает. И днем и ночью по цехам чугунный гул неразбиваемый стоит, спаявшийся из криков костерящих друг дружку на чем свет стоит агломератчиков, вальцовщиков, литейщиков, грохотчиков, коксовиков, сварных и слесарей-инструментальщиков.

Уж глотки шершавятся, как наждаком, ободранные лаем, нет больше слов, нет голоса, чтоб выхрипеть свою единственную правду-правоту: скопилась вся внутри без выхода и ломится – лишь кулаком уже, похоже, и могущая быть вбитой в чугунок того, кто не согласен, кто не слышит, стоит, тупарь, за смерть завода своего и сам того, чушка, не понимает. И непрерывное, растущее в руке желание ударить, и даже сам себе никто не удивляется: сколь люто! И сорвалась одна рука, не вытерпев каления, и полетела молнией пудовой в чей-то котелок – со взбесившейся силой, которой все едино, в кого и куда попадать: в своего вот! рабочий – рабочего! И бьются горновые первой домны с цехом холодного проката № 2, и полыхнуло по цехам, как от проводки заискрившей, и в самой гуще он, Валерка, – как же без него? – своими машет рельсами-ручищами, дружкам по детству челюсти сворачивая и мастерам-наставникам раскраивая лбы. Уже и сам не знает, бьется за кого, – вместе со всеми глотку надрывает: «За Чугуева!» – и вроде как сам за себя, но и за Сашку-брата, как иначе? Хотя чего ему вот Сашка, если так-то? Что ль, кучу денег отвалил, чтоб он, Валерка, за него тут крови не жалел? Чтоб брат за брата пер сейчас на брата? Заговорился аж – вот так уже запутался! Что он, Валерка, вместе с Сашкой теряет? Кто вообще ему, Валерке, может что-то дать, кроме рабочей каторги и знания, что чем упорней вкалываешь ты, тем только больше рассыпается завод, а с ним и личная твоя вся будущая жизнь? Как, как ему, Чугуеву, достоинство вернуть, вот это чувство верное прямое, что в жизни что-то от него, Валерки, самого зависит и меняется? Только в побоище последний смысл находит, спасение от вопросов без ответов, что бьются мухами чугунными в башке, – срубает с ног, заваливает, топчет, ударов встречных пробивающих не чуя… вместе со всеми по путям бежит куда-то.

Беспощадный прожекторный свет бьет в лицо, разрезает глаза, раскаляет мозги, в слепоту замуровывает, и откуда-то сбоку табун на них ломит – словно зрячие против слепых; с торжествующим ревом врубились, и уже он один, неваляшка, кулаками молотит, размахивая налетающих по сторонам, в пустоту раскаленную белую наугад кулаки отправляет, и христосят его вчетвером – выключателем щелкает кто-то в башке: чернота, белизна, чернота от ударов, потянуло к земле, головой вперевес, и уже не командует больше собою – колода. И вот радость какая-то, что его больше нет… Только есть он, Валерка, не дают ему кончиться:

потянула какая-то сила с земли – и стоит на ногах, макаронинах словно вареных. Держат трое в клещах. И дуплетом вопрос в оба уха, сквозь горячую муть в голове:

– За кого?! Чугуева?! Угланова?! Кого?!

– Чуг-гуева, Чуг-гуева… – вот себя называет, фамилию рода.

– Неправильный ответ! – И рельсом сразу в ребра, под вздох ему без жалости.

– Да стой ты, стой! Чугуев он, Чугуев! Чугуев в смысле сам Чугуев он и есть! Брательник Сашкин, ну! Чугуев-брат, рабочий!.. Валерка, как?! А ну-ка, брат, вставай! – И с братской уже заботой теребят, ощупывают: цел ли.

А он, Валерка, чухнулся, как кнопку в нем какую под ребрами нажали, – насосами, рывками расперла его сила…

– Да ты чего, алло, Валерка, ты чего?! Тимоха я, Тимоха! Ну крановщик с плавильного, смотри! А это Колян с Витьком, ну?! Мы ж все на свадьбе у тебя! Сервиз вам с нею чайный – это мы! Ну, то есть не мы, а Людка наши с Катькой! Сам хоть себя-то помнишь, кто ты есть?! Валерка ты, Валерка! – Сковали, задавили буйного тройной своей тяжестью и сами, обессилев, рядом повалились, измученно воздух в себя широкими хватками набирая. – Вот ведь, Валерка, как – ты с нами тут, а братец твой над нами, иуда, без зазрения! Так за кого – ты, так мы и не поняли?

– За Сашу Чугуева! – как есть, им выдыхает в рожи.

– Вот номер, а! Ты че ж, мы, значит, правильно тебя?

– Зачем, Валерка, почему? Ты ж с нами тута, на земле, а братец сверху над тобой куражится. Тебя, брат брата, обирает! Чего ж, не понимаешь?! Какой тут голос крови?! Озолотил тебя по-родственному, может, чтоб ты вот так сейчас тут за него?

– Ага, вон весь прям в шоколаде! – Смех начинает бить его, безудержный, как кашель.

– Тогда зачем, Валерка, за него?!

– А вот чтоб вы меня тут положили наглушняк, наверное! – Крупнозернистой теркой смех по отбитому нутру его проходится: и больно – жуть, и мочи нет сдержаться.

– Совсем дурак, Валерка? Надо жить! Жизнь поворачивать свою своею волей!

Паяльником ему, Валерке, – в мозжечок! И вспышка лютым белым, замыкание:

– Сейчас своею волей! Ждите! Как на карачках ползали, так дальше все и будете! – В душник Коляну локтем! И на ноги рывком! – На тысячу баксов углановских клювы разинули?! Что на заводе вас оставит?! На рай рабочий, да?! За пазухой у пидора московского! Нагнет вас втрое прежнего – такой вам будет рай!

– Смотри, Валер, обратно сейчас вот заперцуем, как просил! – как с островка, со льдины, беззлобно-обреченно ему в спину.

Куда бредет – не знает. Полсотни даже метров в звенящем оту пении не пробрел, как новый топот сзади, табун нахлынул новый, потащил, врубили под ногами словно ленту транспортера: бежит со всеми вместе, не зная, за кого – Угланова, Чугуева, – плечами и ребрами бьется о камни катящихся плеч и голов, и встречная лавина на них, как под уклон, срывается в молчании… схлестнулись и вошли, как вилы в вилы. Сгорели все вопросы, как спичка отсыревшая во мраке, и снова он, Валерка, рубит лес, взбесившейся проходческой машиной дорожку пробивает в хрипящей и надсадно кхыкающей массе, чугуевцам наотмашь челюсти круша, углановцам раскалывая ребра – все без разницы. И вот уже один – прошел насквозь всю кучу. Не видит и не слышит, не хочет даже знать, чья верх взяла, вбирает только воздух непрерывно со сладкой распирающей болью: болит – значит, живой он, настоящий. И снова налетели со спины, объятиями сковали, радостные очень:

– Свои, свои, Валерка! Ну даешь! Уделали углановских как нехер! И ты опять, вот ты! Машина наша врубовая, сила! А мы уж было думали, что все, Чугуева в больничку положили! А он, Чугуев, вот – стоит опять и машет! – И рожи все знакомые до трещин, до прожилок – Митяй, Мишаня, Викыч, с борзыкинской бригады все ребята, с кем языком глухонемых

давно уж научился возле домны изъясняться… ну и Степаша тут же, главный закоперщик, вот разжигатель бунта – как же без него? – Нет, ну откуда столько их, углановцев?! Плодятся почкованием – Угланову поверили!.. Да ты чего, Валер, как неродной? Ну не сегодня – завтра выдавим паскуд! Они ж врасплох нас, светом ослепили – только из-за этого!.. Куда, куда?! В обход давай! Не вырвемся!

И вместе – вдоль бетонного забора. И по шлаковой куче на гребень. И с гребня – кубарем по склону, сквозь кусты. Прокатились и вырвались прямо к черной реке. Продышались, поправились.

– Ты, Валерка, давай, – на ходу выдыхает Степаша, – завтра утром опять приходи. Без тебя нам никак, ты – наш главный таран. Если мы перед ними прогнемся сейчас, то уж больше не встанем. Эх, Угланов, ну сука! Половине народа башку задурил! Про подъем производства, рабочую честь! Крысолов, блин, умеет на дудочке! И вот, главное, да, половину под зад с комбината, признает это, сука, в глаза, все он так и задумал… и что?! Все равно половина за ним: увольняй нас, москвич, мы согласные! Это мозгом каким вообще?! Так что завтра как штык чтоб, Валерка!

И во что-то в Валерке попал: прохватило волной безнадеги и злобы на бессмыслицу этих штурмовых их приливов и отливов с завода, на какую-то безличную, непонятную, неумолимую силу, что магнитит их и волочит, куда надо ей и куда ему лично, Валерке, не надо. Молотить с первобытным озверением своих, вот одной с собой крови, породы – оно ему надо? И рванулся, попятился от дружков-собригадников, как от чужих, зараженных, засаженных в новое тело:

– А идите вы все со своей войной! Все конем оно кройся!

– Да ты чего, Валерка?! Мозг тебе встряхнули? Ведь завод же за нами, завод! – Заклинание Степаша выдыхает всегдашнее, от лица высшей силы вещает, проводя в массы волю чугунных богов.

Но замкнулся Валерка в себе уже наглухо – верит, что насовсем изнутри запаялся, не подцепишь его, не потащишь никогда уже больше в дробильню, как вот этих всех осумасшедшевших, – и сорвался так резко, словно выдернул провод какой из себя, побежал своей собственной волей, в праве быть там, где выберет сам, отделенный от всех, только вот с каждым шагом не прочнеет, а, наоборот, все пустее, прозрачнее, жиже становится, на бегу загибается вот от этой свободы своей, неприкаянности, непричастности к правде какой бы то ни было: видно, сделан таким, что не может он сам по себе, слишком легкий и маленький, чтобы в нем отдельном нуждалась земля.

Вот куда он теперь, вот к кому, как же он без завода? – бьется гирькой чугунной в башке. И спасибо, хотя бы на один из вопросов дается ответ – взглядом в этот ответ на бегу упирается, сразу и не поняв, что там вдруг за явление: у моста, на мосту в кучу сбились и глядят, как на зарево заводского пожара, сотни баб, утеплившихся телогрейками мужниными и платками пуховыми, чуть не весь женский город. И качнулась толпа мягкотелая, слабая, будто брюхом единым, Валерке навстречу – поскорей разглядеть, кто там вышел еще невредимым из боя. Жили только глаза на старушечьих лицах, усохших и сжавшихся в бурый комок, словно палые листья, на морозно горячих и свежих, налитых молодыми звенящими соками. Беспокойные черные ранки, сколь голодные, сколь терпеливые, выедали Валерку в упор, разрывали, расклевывали, кляли – будто было из них что-то вырвано и нельзя прижить, возвратить, пока муж или сын не вернется. Вот один вопрос в каждой пронимающей паре наставленных: где там мой? что там с ним? вы когда отдадите мне назад моего?

Побрел средь причитаний бабьих, всхлипов: «Они между собой воюют, а нам тут стой трясись, куда его ударят, мужик он или клоун после будет!» – меж мягких толстых спин, в покорность стекших рук, среди грудей кормящих, откормивших, средь животов округлых и наполненно твердеющих, выпирающих в мир беззастенчиво и беззащитно – предъявлением

зреющей в них новой жизни, выставляемых перед собой бессильной и огромной по силе нутряной укоризной: на кого нас оставили с животами, мужья?

«А Кольку, Кольку видел моего?! С Трактористов мы, Клюевы, ну?!» – от цепляний настойчивых он отбивается, от знакомых, соседок, у которых на свадьбе гулял, от старух, кому с детства божился не тащить больше сына их за собой на бесчинства и в увечные драки… и по брюху вдруг крик полоснул его, вскрыл, охлестнул ликованием: «Валерочка!» И Натаха, Натаха к нему сквозь толпу, как с горы, полетела, с разгона влепилась в него, дурака, всей своей задохнувшейся огненной тяжестью, жалким телом, зазябшим на ветру и юру.

– Никуда тебя больше не пущу, гад, запомни! – детски шмыгая носом забитым, по щекам его гладила безостановочно – не то кровь с его морды разбитой стирая, не то будто стараясь сберечь его, гада, лицевую штамповку, единственность черт под защитной стяжкой слез и соплей и чего-то еще, что текло в него жадной бессловесной мольбой, оставаясь надолго, высыхая не сразу.

2

– Ты что ж это творишь?! – Человек покупательной силы огромной в гостиничный номер ворвался, будто бы из огня, и навис над жердиной, воткнулся в лежащего сквозь очки убивающе. – Трибун народный херов! Схлестнул между собою гегемонов, поп Гапон! Месилово, война полномасштабная! Уже такое, что вообще нам не отмыться никогда… от крови. Ты, когда делал это, думал вообще?! Виртуальное измерение, виртуальное измерение! Решил теперь в живых людишек поиграть?! В рабочих, блин, солдатиков?! Ты понимал, что вот они – живые, ты понимал, что кровь у них течет, понимал или нет?! Менты обделались: в забив уже не сунутся! – И заметался, шастает по номеру: вот здесь, у него под ногами, уже разлилось, и некуда ступить – замарывает ноги.

– И как там, трупы есть? – с койки ответ пустым и ровным голосом, с какой-то беспощадной властью знания, что все идет так, как не может уже не идти.

Ермо прожгло, остановило, развернуло:

– А иди посмотри, посчитай, сколько там их уже! Сколько ты! их уже!

– Если б не я, то кто-нибудь другой. Это реактор, Дрюпа, он рванул, и никакие фартуки свинцовые не сдержат. В них всех сейчас уже такая злоба, что только с кровью может выйти. Им все равно, кого ломать и за кого. А если б мы на них ОМОН? Дивизию внутренних войск? Ты так бы хотел? Сколько тогда бы было трупов? Гарантированно. Ты знаешь, что здесь было в шестьдесят третьем? Когда им власть советская единокровная сказала: жрать будете то, что дадим. Их только танками тогда загнали в стойла. Здесь аномалия магнитная, Ермо. Ты думаешь, кто они? Люди? Они даже не русские. У них не то что пугачевщина – у них новгородское вече в подкорке. И с ними надо разговаривать. Чтоб за тебя кричали, за Угланова. А иначе тут не утвердишься. На каждом шагу под тобой проламываться будет.

– И ты поговорил!

– Я с ними так поговорил, что половина из них на площади стоит и продолжает меня слушать. А еще больше тех, кому все фиолетово – чья на заводе будет власть. А напусти на них ОМОН? Тогда бы все на нас пошли, все те, которые сейчас засели тихо-мирно по домам.

– А подождать вот тупо – не приходило в голову такое?

– Подождать, пока сдохнут все домны? И никакой нам «Свисс Кредит» и «Стандарт Чартер» таких объемов не дадут, во сколько встанет такой завод реанимировать? Мне сейчас надо этих железных поставить к машинам – сейчас! Вот насколько их хватит? На три дня, на четыре? Пару бошек друг дружке пробьют, кровь увидят – и встанут.

– Кровь же, Тема, ведь кровь!

– Ну а какие роды могут быть без крови? Главное, чтобы выжила роженица. И плод. Вот прогорит сейчас в них без остатка эта злоба, и озираться станут: где мы, кто мы? И вот тогда уж, на пустые головы, я окончательно им это объясню.

3

– Нет, нет и нет! – Натаха на нем виснет – в пустившем корни, запустившем когти страхе, что он, Валерка, завтра на вой ну еще раз побежит. Волочит за собой какой-то материнской уже властью, в дом загоняет наказание свое, и топает послушно огромный малышок, без единого взбрыка повинуясь пока что. – Еще, Валера, только раз – не знаю, что тогда с тобою сделаю! Ты не молчи, ты «да» скажи, Валера! Пообещай, что больше никогда!

– Судьба завода вообще-то, – автоответчик в нем, Чугуеве, включается, под всей разламывающей болью в голове, под спудом знания, как все оно бессмысленно, как безнадежно, как непоправимо.

– И как она, вот как она решается?! Что вы, рабочие, друг друга кулаками?! Что за война такая, кто на вас напал?! Чем это кончится?! Это ж, Валера, могут так тебя ударить… и можешь ты ударить, ты, что это все, Валерочка, тюрьма! Они там все, дружки твои, воюют – ну и пусть! А ты умнее будь, с людей бери пример! На батю посмотри вон, на Семеныча! Он не пошел, Борзыкин не пошел, Клименко оба, Сомовы, Самсоновы – вот все, кто умнее, никто!

– Куда им, старперам?

– Целее тебя, молодого, зато будут все! У Нинки с Веркой дома их мужья! Вот просто голову имеют на плечах. И ты б, Валерик, тоже вон лучше б на собрания тихо-мирно походил, вник, что к чему, чего кто обещает, ясней бы разобрался, что и как.

– Да уж куда ясней! И под Углановым кирдык, и под брательником родным уже не жизнь. Чего-то я совсем запутался, Натаха.

– Ну так домой пойдем, Валерочка, распутаемся, – зазябшим телом, внутренне горячим, прижимается: туда, где просто все, уже не промахнешься, Валерку тянет огненной лаской.

И притянула, затянула – в их частный сектор переулками ночными. Вон отец с папиросой на крыльце полуночничает – уж которые сутки не спит.

– Ну что, навоевался? – прохрустел. – Котелок еще не раскололи?

– Иди, – толкнул Натаху взглядом, – я сейчас… Да уж лучше бы, батя, видать, раскололи, – потянуло к земле, на ступеньки, сел рядом, захватив в обе лапы загудевшую голову.

– Несешь чего-то… это самое… совсем уж… – клокотнув, кулаком сунул в спину отец – протрясти, выбить дурь, да уж где там – обессилела, рухнула на ступеньку рука.

– А как мне жить-то, батя, как, скажи! – От черепушки оторвал приваренные руки и надавил кричащими глазами на отца.

– От тебя же зависит.

– Так ведь в том вся и штука: от меня – ничего! Что же я – не работник? Пашу! Не смыкаю очей, как завещано. Домна дышит еще до сих пор только лишь потому, что вот я! Ну дышит – и что? И еще только хуже! За себя поднялись – показать, что мы есть, не скоты, чтоб терпеть, – и опять только хуже!

– Все еще может повернуться, – толкнул отец с какой-то неживой убежденностью, так, будто сам в себе неверие пересиливал.

– Кто повернет-то, кто?! – стиснутым ртом Валерка простонал. – Угланов этот, может, балабол? Тоже ему на старости поверил, крысолову?

– Так дело ж говорит. Сашка потек, а этот – все по полочкам. Послушал бы сначала, охламон, вместо того чтоб рогом упираться. Все расписал по пунктам, что намерен делать

на заводе. Руду под Бакалом нашел. Считай, что у нас под ногами, вот новая Магнитная гора – возить ниоткуда не надо. Экономия какая. И с углем то же самое. Вот уже у казахов два разреза купил. «Богатырь!» И опять от нас в ста километрах. Прокатный стан на две пятьсот – четыре новых клети методических с шагающими балками. Пять новых слябовых машин пятиручьевых. Вот в самую точку сажает прицельно, в больные места. Я вообще после Ракитина не слышал, чтоб кто-то масло так в башке гонял за комбинат. Он же не только в бухгалтерию уткнулся – он существо машины понимает. Вот он прошел по моему, чугуевскому, цеху и сразу все стыки по нижнему поясу видит. Что надо делать, чтоб на бошки кровля не упала. А кто у нас когда в правлении про это говорил? Мы им говорили – они нас не слышали. И главное – про воровство. Вон конторские наши за Сашку горой – почему? А инженеры, Новоженцев-жулик почему? А потому что воровать он им дает! Валков новых нет, а по бумажкам они все у нас закуплены. И я их по пять раз на дню меняю – по бумажкам. А деньги себе инженеры в карман. Начальники цехов с конторскими на пару. Они вон у Сашки воруют, а Сашка у них, и все они вместе – у нас, у рабочих. Так он чего, Угланов, – вешать будет, говорит. Я, говорит, в тюрьму не верю, а только в возвращение телесных наказаний. Такой контракт вот с каждым трудовой, что в трех поколениях потом отдавать им придется. Полицию свою на каждой проходной.

– Ну прямо Пиночет какой-то, а не сам главный вор. Вот это что тут у тебя?.. Лапша с ушей свисает до колен. Не проходили разве, нет? Все за рабочий класс, пока на шею нам не сели. Они же только этому обучены – ла-ла.

– А Сашка с Буровым все эти годы не ла-ла?! Ты думаешь, я слепой, ты думаешь, я дурак? Все заразились, вплоть до слесарей! Валки своими же руками, твари, гробили, до голых мест, паскуды, шкурили, чтоб никель на продажу. Сталь нержавеющую, никель, молибден. Через забор связка за связкой катапультой. Не цех ремонтный – черная дыра! И все всё видели, и всем всё было похеру! Складские лыбятся, начальники облопались, а работяги – надо ж как-то жить, не проживем, Семеныч, без иудиной копеечки.

– И вот Угланов, значит, с этим кончит?

– Кончит! – Захрустели в отце рычаги, завращались валы, перемалывая знание, опыт, что вот ни разу так не сделалось с приходом новой власти, чтоб прекратилось или хоть убавилось от наведенного на человеков страха воровство и каждый зажил навсегда в непогрешимом напряжении службы. – Если не он, тогда вообще никто. Давай, Валерка…

– Чего давай-то? Воевать заканчивай?

– И это тоже. Давай мы это… акции ему… – как что-то стыдное, стыдящееся собственной наивности, но все равно живучее выдавил отец.

– Давай, бать, давай! – аж до кишок озлился на отцову вот эту душевнобольную надежду. – Я, правда, думал ими стенки в туалете, но для такого дела, бать, в зубах их завтра принесу. Мало мы, что ли, им в зубах вот эти фантики? Сначала Сашке, Савчуку, потом обратно Сашке, а как на брюхе, батя, ползал, так вот до смерти уж теперь и доползешь! – Что-то совсем не то, слетев с катушек, выплюнул и задохнулся собственным паскудством, увидел, как лицо сломалось у отца. – Да погоди ты, бать, да я не в этом смысле!

Отец толкнулся, встал с превозмогающей натугой, и на мгновение почуял он, Валерка, что как-то уж слишком просторно заклокотали силы жизни в мощном, грузном теле совсем еще не старого железного – слишком свободно помещаясь и просясь наружу из разношенной клетки и истершихся в службе кузнечных мехов, и отчаянным необъяснимым детским ужасом страшно стало вдруг за отца, что пошел в дом без слов и в чьей поступи явственно слышалась перетруженность материала.

4

Переполняют воздух тысячи рентген, да только вот никто не валится от дозы облучения – наоборот, три раза надо с ног срубать, чтобы уже не встал железный; незаживающей дырой, жрущей пастью глотает упертых бойцов комбинат. И не хотел Валерка снова в этот кипяток, а ноги сами принесли.

– Валерка! Молоток! Знал, что придешь, Валерка!

– Так это я так – обстановку.

– А сам же первым кинешься – доложим обстановку! – Степаша его зенками своими выедает, так, словно уж совсем он запаршивел, вот без него его зарезали, пока его тут не было. – Уволен ты, Валерка! Приказ на воротах! Вот кто-то стуканул, что ты застрельщик, в первых рядах старался больше всех – кувалдами своими за Чугуева. А как ты думал, если выдавили нас? Самое то – зачинщиков уволить и остальных, кто водит жалом, запугать. И кто ты, кто, Валерка, вот без домны? Какой же ты тогда Чугуев, а?! – вворачивает в мозг ему Степаша.

И верно ведь, правда последняя! Впустили свежий воздух в прогоревшее Валеркино нутро, с новою силою в нем полыхнула почти уже затухшая, растраченная злоба – гнев на то, что его, в поколениях стального, кость от кости завода, можно так от печи оторвать, по живому, одним только росчерком твари, решающей, где и кем ему жить. И другим, добела раскаленным куском – все прожжет и приварится – бьется в толпе, самый ловкий и страшный из всех, в гущу самую лезет, в чащобу, где пруты арматурные хлещут по рукам, головам, словно ветки, и вот только прочнее становится от облегчающей, радостной боли и ударом ломающим на удар отвечает, возвращает с процентами, под которыми гнутся, проседают тяжелые туши. Кровь ударила в голову, запах выбитой крови чужой и своей. И вот так гасит каждого, кто подвернется, что как будто нашел наконец-то того, кто во всем виноват, и себя сам казнит, в одиночку под палки стальные бросаясь, и уже расступаются, пятятся перед ним нападающие, лишь бы только под эту кувалду котелок не подставить еще один раз, и чугуевцы метр за метром берут-отвоевывают, и Валерка уже на плечах отступающих первым несется… чтобы вынырнуть – где, непонятно – из блаженного этого помрачения бойни.

Бьют прожекторы прямо в лицо, заливая всю площадь безжалостным светом; перед зданием правления он, все дороги сюда – и глядит вот на эту цитадель, белый дом, пароход, что все дальше и дальше отплывает от берега, с какой бы ты силой к нему ни ломился и сколько голов бы ни пробил по дороге. Видит белую стену, текущую к черному небу, как порог, как ступень много больше Чугуева: вот какая-то правда своя в равнодушно-незыблемой этой стене – не углановской даже, а вообще все равно какой власти, навсегда безучастной ко всему, что не есть ее собственный смысл – превращать передельных людей в передельный чугун и отлитую сталь – и в свою, нелюдскую, незыблемость.

И так ясно Валерка почуял убывание собственных сил, из него выжимаемых этой плитой по капле, что кулак сам собою взмыл в воздух, этим окнам грозя, этой кладке… и качнулся, попер на ворота, и толпа за ним следом, толкачом ему в спину, и уперлись в шеренги тяжелых бойцов спецзащиты – в лакированных гоночных шлемах, со щитами, в хоккейных доспехах, прикрывающих туловища, яйца и локти, – не ОМОН никакой, а уж личная армия бога-Угланова замахала дубинками… будто конь над Чугуевым встал на дыбы и обрушился прямо на темя копытами… и бегут уже все в направлении обратном, как коровье стадо от раскатистых выстрелов сотни пастушьих кнутов, о своих же товарищей запинаясь поваленных, о Валеркину тушу, о бошку, попаданием прямым целиком обесточенную.

…И неизвестно где бредет, куда, мир слыша, как из-под воды; вброд переходит беспредельную асфальтовую реку, проваливаясь в донные ловушки то и дело… и весь мир во

вращательный танец пускается, гончарным кругом под ногами вертится земля с хороводом панельных высоток и голых мертвых черных деревьев, похожих на корявые трещины в небе. И ничего уже не хочет, мозгом обессилев, – ввинтиться только в мерзлую ноябрьскую землю, как шуруп. Рукой отшибленной калитку силится толкнуть и погружается ладонью в дерево, как в воду. А за калиткой – густо-розовым пятном пуховика сквозь горячую наволочь в зенках – жена, звонкой струнко с коленками голыми, и пар мятущийся ее дыхания на морозе. Как будто здесь все это время и стояла, на ветру, свое проклятие – Валерку дожидаясь. Глаза огромные и горько-пересохшие, казнящие.

– Опять туда, вояка, ну, туда?! – стиснутым горлом проклинающе шипит. – Ведь обещал, что всё, ведь обещал!

– Да, – только это выпихнуть он может.

– Что «да»?! Зачем?! – Одним лицом своим, глазами его сейчас к себе не подпускает – не может шага сделать к ней, как приварился.

– Натаха, сам не знаю… засосало…

– Нет, нет, – неверяще поводит головой, больше, чем сам в себе, в Валерке понимая. – Ты! Ты! Ты это сам!

– Ну я… и я! А как не озвереть? Ведь в шлак меня слили, уволили. Пошел им сказать… был должен сказать…

– Нет, нет… – глазами кричит. – Чтобы не жить, чтобы совсем пришибли – вот почему, Валера, ты пошел. А то, что я… что мы…

– Да, да… – вклещился, вдыхал ее, пил – всю ледяную под цыплячьим пухом, рыбьим мехом… она не зашипела, не рванулась, но и в него не влипла, отдавая ему все сильное в себе, как это прежде было в их объятии всегда. – Я думал, всё, Натах, вот точно всё, вернулся, повоевал разок и хватит, больше ни в какую! Ну а меня под нож, под увольнение. И где я, кто я без завода?! Никто и звать меня, Чугуева, никак! Сломалась жизнь.

– Ты, ты сломал! – в тисках его шипит.

– Я, я! – Ее в себя вжимает, пьет с лица, ни оторваться, ни напиться все не может. – Как лапками взбиваю и барахтаюсь – и сам себя топлю вот только, сам себя!

– Так что ж, не жить вообще – такой отсюда вывод, сволочь, гад?!

– А я могу? Могу я – жить?!

– А я… я могу, если ты?! – истерзанным голосом режет таким, что в них, как в одном человеке, дыхание срывает. И мертво, не собственной волей, не мамкиной уже угрозой неслуху – всерьез: – Еще раз пойдешь – меня не найдешь.

Прожгло – как вдоль хребта огрели арматуриной, и со сладкой, радостной болью опять:

– А ты давай, Натах, давай! Ты в самом деле… ты не жди! Из-под меня вот выбраться – и выход! – И сам с собой внутрях опять воюет – на разграбление отдает их общее единственное то, что беречь заложился с самых первых совместных шагов, первых дней изначального счастья, не загсовскими полуфабрикатами вот этими: «беречь и уважать», «быть вместе в радости и в горе», а говорением немым в самом себе поклялся, взяв ее за руку со знанием, что только с этим человеком ты бессмертен. – Ты это… ты бросай меня, раз так… бросай совсем, пока еще не поздно. Пока детей нет, ну! Еще успеешь. Еще найдешь себе, с кем можно жить по-человечески. И еще как найдешь – тебе-то только свистнуть! А то я кто? Сегодня безработный, завтра бич! Вот на одни портки за жизнь и заработал. Так что давай, давай! Вон Сашка мается один в своих хоромах. Другой Чугуев, мощный, не нам, другим Чугуевым, чета!.. – остановиться все никак не может, себя известно с чем мешая и радость подлую в своем уничижении находя.

– Раз ты не хочешь, то и я не буду, – вновь на Валерку – закричавшие глаза.

И продрало Чугуева вот этой бесповоротной, неживой ее решимостью:

– Натаха, что ж такое говорю?! Чего ж творю-то, а?! Да я клянусь тебе – вот все! Забыто, похоронено! И проживем, и заживем еще, клянусь! Натаха, верь мне, слышишь, верь!

– И ты мне… – эхом отзывается.

5

Не мог поверить, что живой. Непрожеванный, сплюнутый, с обслюнявленной биркой «Директор ОАО „ММК“», он, Чугуев А. А., то сидел, то стоял в пяти метрах от служившего сталелитейную мессу двухметрового монстра Угланова и мертвел, сокращался, прекращал свое существование от хирургически точных углановских попаданий в хребет, костный мозг сталевара. Он, Угланов, магнитил рабочую массу и рассверливал общий могутовский череп, проходя корневую породу насквозь нестираемой алмазной коронкой, буром беспощадно расчисленной, ясной программы «возрождения завода»: двадцать два миллиона в разработку Бакальского месторождения, что на двадцать лет минимум(!) станет страшным по дешевизне и запасам руды новым донором для комбината, а еще будут куплены им Святогорские и Качканарские рудные жилы и ГОКи: удешевление агломерата и окатыша в 7,5—18 раз в зависимости от конъюнктуры электрических и транспортных издержек. Экибастузские разрезы «Богатырь» и «Западный» – удешевление угля в 7—10 раз. Включить до 10 % прибыли в зарплату каждого железного – сновал углановский разогнанный до частоты швейной машины пневмомолот, сбивая тысячи внимающего люда в плиту согласного молчания и одобрительного гула, и чуял он, Чугуев, сдвиг по миллиметру закоченевшей, промороженной унынием могутовской породы и задыхался от признания себе, что этот монстр делает все то, что сам он, Саша, должен сделать был, и он бы сделал это САМ на комбинате, если б ему на это доставало тупо денежной массы и ресурса влияния в «системе»… но он всегда был, Саша, нищим, изначально – не подключенным к самым мощным источникам бесперебойного питания в Кремле, а этот, этот – с Ельциным(!) по воскресеньям перебрасывался мячиком на корте.

Полыхнуло, в увечные сшибки друг с дружкой пошел заводской молодняк – Саша вздрагивал от заоконных ударов и совсем уж не верил, что он это, он так настроил людей на явление Угланова; о себе много думает – что способен разжечь и поднять эту силу и тем более ею владеть, направлять, куда надо ему, – все рвануло само, не могло не рвануть в головах и грудинах человечески необъяснимое «это», не сводимое к словам «унижение», «ненависть», «вымещение», «отчаяние», что-то не позволяющее уловить себя для называния, что-то более темное, близкое к самым нижним пластам человеческой сути. Стало нечем дрожать – даже за собственную, эту, в физическом обличье, единственную жизнь; можешь меньше, чем заяц, чем мышь, сделать для сохранения своей… уж какой тут завод, восемь тысяч гектаров цехов и железнодорожных путей? Все сделается само, сомнут его, Чугуева, его собственные, придавшие ему прозрачность рабочие – поднявшейся водой бескормицы и злобы, и есть в этом какая-то окончательная правда и даже красота возмездия, что ли, – по делам, по стальным урожаям его, Саши, бесплодного царствования. Никто теперь с ним больше уже не торговался за пакет: зачем, когда завтра рабочие сами на бархатной подушке вынесут Угланову железный скипетр с чугунной державой?

Чугуева затопило слабоумие, и самому уже хотелось перейти остаточной малостью в подножный глинозем – утечь, протянуться, пробить ростком почву в заморском, оранжерейном, европейском «там». Гнев на свое бессилие больше не душил – только б слиться «отсюда», только это осталось, но на пятые сутки войны – ниоткуда, с небес – угодила в него телефонная молния, обвитая жгутами электричества огромная рука взяла его за голову и вырвала из ямы, из вмятины углановской каблучной: хотите из «ничто» обратно в сильные?

Мы – банк «Империалъ», мы можем вам помочь. Давайте завтра встретимся в Челябинске – реестр у вас в руках, насколько понимаем?

Отснятую с маниакальным, подавляющим размахом рекламную «Всемирную историю. Банк „Империалъ“» – Чингисхан, Тамерлан, Македонский, бутафорское золото, горы костей в основаниях великих империй – через каждые десять минут ежедневно крутили на всех федеральных каналах лишь затем, чтобы двадцать, от силы пятьдесят русских правящей расы в Белом доме, Кремле, Горках-9, Барвихе невзначай зацепили, царапнули взглядом экран и у них отложилось: вот такие заходят на прием к ним ребята. Вот не меньше, а может, и больше Угланова сила – «Верхозин» – подзывала его; Саша, поднятый зовом, полетел воскрешению навстречу, сбывавшимся, когда уже не верится, мечтам найти сильного друга, и спастись, и жутко отомстить за унижение, вонзился в ресторанное тепло, в отдельный кабинет, поверив, что и ему теперь, Чугуеву, предстоит переливать стальные реки по наклонной совместно с этими ребятами, акционерами одной шестой, которые… просто его сейчас перекупали. Вворачивали в темя: у вас есть по уставу 43 000 000 объявленных акций, но не размещенных, по рублю за кило сам себе ты продать их не можешь, и Угланов, конечно, над тобою смеется, но теперь появляемся мы и берем у вас этот пакет за реальные деньги, предлагаем 175 000 000 на открытых торгах, и Угланов не перешибет, у него сейчас нет таких денег, отдал все за «Тюменскую нефть», весь в кредитах, на завод мы заходим и давим Углана эмиссией до 0,000001 %, стадо не при делах, а вы лично получите 25 000 000, ну и место в Совете, вообще оставайтесь директором, если хотите, ну под нашим, конечно, контролем.

И Саша потерпел, насилу удерживая бешеную радость: деньги были ничто, но вот он – не ничто, не слизняк под углановским вмявшим, не почуявшим и раздавившим его каблуком; он решает, под кем быть заводу, и пускай самодержцем Магнитной горы самому ему больше не быть, но и огромному Угланову не утвердиться над заводом никогда. Оставались бумаги, бумажная труха, в которой он за сутки дорожку прогрызет… и только на лету обратном, к дому, подумал наконец про САМ завод: кому он его отдает – чтобы стал завод чем, размахался и вырос во что, сократился и пал до чего?

И была в этом снова красота наказания, расплаты: на подлете к Могутову тормознули одетые, словно дети для зимней прогулки, с автоматами, в бронежилетах, гаишники – махнули полосатой палкой на придорожную стекляшку: там тебя ждут, пешком давай, по-резвому. Кукан прошел сквозь жабры, и по натянутой струне он двинулся к стекляшке напрямик, по ледяной грязи слитого мазута; нет времени на выбор места – ввели черным входом, дорожкой из кафельных плиток между стальных пивных бочонков и алюминиевых бачков с блевотными отбросами – чтобы не дать его, Чугуева, приметить, опознать кому-то из стучащих ложками туземных сталеваров, приехавших из пунктов сдачи вторчермета, водители транзитных фур не в счет; прохлопали сноровисто по голеням, коленям и бокам безликие охранники, шагнул через порог под хирургический направленный свет и увидел – мгновенно узнаваемого по росту нескладного большого человека, сидевшего в углу с такой скучной незыблемостью, словно ни маленького Саши, ни даже целого Верхозина с его «Всемирной историей. Банк „Империалъ“» для него осязаемо не существует.

Обратная тяга

1

Утром в субботу старый свой «Москвич» из гаража выталкивают общими усилиями – сын и отец Чугуевы, Валерка и Семеныч. Боль по ушибам бьется и разламывает череп – расплатой за участие в могутовской войне, и в промороженном салоне еще долго тыркает в зажигании батя ключом, кривясь страдальчески и стискивая зубы, как будто в собственном нутре он ковыряется, и еще долго под откинутым капотом Валерка возится, отверткой подчищая карбюратор… И наконец-то сговорился батя с чахнущим движком, заклял его своим шипением, умолил – чихнул мотор, прокашлялся с вонючим синим дымом и зарычал в погибельном надсаде: ну, значит, могут ехать, и прицеп в молчании заваливают ломом, натасканным со шлаковой горы за месяцы разведки, копошения: двутавровую балку, которую в одиночку не поднять, обрезки уголков чумазых, швеллера… со двора на своем «башмаке» выползают, скрежеща и кряхтя, проседая в рессорах под взятой тяжестью, и подушку тумана светом фар понемногу пропихивают по дороге вперед, в изводящем молчании по шоссе километры накручивают. И не выдержал первым отец, покачал, как один на двоих воспалившийся зуб:

– Жди теперь и терпи – только это осталось. Это вам всем шурупы на место вворачивают – больше чтоб воевать не ходили, на запчасти друг дружку разбирать почем зря и вокруг материальные ценности портить. Как еще удержать дураков? Это ж предупреждение было, а не увольнение – неизвестно, повесил его еще кто и имеет ли эта бумага законную силу. Понимать должен был… Да когда ты, балбес, в чем-то мог разобраться? Крутит этот Степаша тобой, поджигатель, это надо еще разобраться, из-под чьей это дудки он все. И вообще помешались – сами в петлю себя, молодежь. Не за завод уже, не завод, а вот будто и жить не хотите. Вон в больничке уж коек свободных от вас не осталось, а хоть бы вам хны, только искры сильнее летят. Ну а стукнешь кого – и под суд? На минуту хотя бы сообразилку включаешь? Что такое вот можешь своей колотушкой? Так что жди и терпи. Мастеров, их беречь теперь надо, мастеров за неделю не сделаешь.

– Ну одна у тебя теперь, батя, пластинка. Бог Угланов все сделает. И вот ты ему нужен, первый мастер проката. Да твой горб нужен им, забесплатно, на горбу твоем слябы катать – только это.

– А вот хоть бы и так! За копейку несчастную, без уважения, но нужен.

– Не бывает так, бать, не бывает.

– Ну а кто создает материальные ценности? Ну вот нет уважения к мастеру, торгаши повсеместно одни процветают, управленцы конторские вон на нас морды кривят: мол, мы белые люди, ты черная кость, а все равно на мастере все держится, береги его, мастера, потому что не будет его – ничего тогда вовсе не будет на русской земле. Ножик мать вон вчера принесла. «Мэйд ин Чайна». В Могутове! Я его, этот ножик, в двух пальцах сломаю.

– Кто же спорит-то, бать? Только где оно, где?

– Это что значит «где»? Вон он я, вот он ты! Предназначения своего рабочего держаться – это прежде всего, как бы ни было. И это неправда, что ты говоришь. Что все так живут – лишь бы только пропить и прожрать, – и раз все, то и ты по-другому не будешь. Что вообще тогда не хочешь жить. Ты смотри, вот сегодня не хочешь, а как завтра обратно захочешь? А захочешь – тогда будет поздно, развалился уже, не собрать.

– Жизнь потащила, жизнь сама – куда самой ей надо, а не мне. Я, может, и сам не хочу, а иду. Вот только встану, бать, и по башке опять мне, по башке! Вчера опять с Натахой… ну, из-за этого всего она вот начинает… ну, разбежаться нам с ней, может, насовсем…

– Куда разбежаться, дурак?! И не вздумай! Да ты еще цел, потому что она! Она ж тебя и держит, заземляет. Ответственность все время – что вот она, душа живая, за тобой. Держись ее, держись, ведь пропадете друг без дружки в этой жизни… она-то без тебя вот, может быть, и нет, а ты-то без нее – уж точно.

– Так лучше ей, Натахе, лучше без меня.

– Ну, логика! А ты не бедокурь. Не бедокурь, чтобы она не отдувалась. Проникся, осознал, что бабе худо, – ну вот и держи себя в рамках тогда. А ты ее с воза и сам под откос – вот как здорово! Вот наградила сыновьями жизнь-то меня, а! Чего ж детей-то с ней за время все не сделали? Не прокормить боитесь, что ли? Да нас троих вон батя с мамкой – на лебеде одной, картохе, уж не в пример был голод, вообще война, и ничего, все выжили и зажили. Был бы свой потрох – сразу бы мозги на место встали.

– Так что ж, сейчас нам с нею, может, сделать?

– Да уж молчи теперь, производитель! Сперва вот землю под ногами снова ощути. Крышку держи обеими руками, чтоб не сорвало.

И все, приехали, движок их старый выдюжил – свернули, затряслись каждой железной отрывающейся частью по колдобинам вдоль мертвого бетонного забора, поверх которого просматривались горы рыжих от ржавчины поломанных и искореженных костей могутовского монстра; у крытых выцветшей голубенькой краской ворот образовалась медленная очередь из ощетинившихся связками заржавленного профиля и разбитых рекордами грузоподъемности «москвичонков», «ижей», «жигулят» (ископаемых, жалких, пестрящих, как политическая карта мира, пятнами шпатлевки), незаглушенных «муравьев», «планет», «юпитеров» с колясками… Под ленивым приглядом двух охранницких туш в камуфляжных бушлатах встали в хвост вереницы вот этой ползучей, продвигаются по сантиметрам навстречу позору и легковесному комку бумажных денег, не греющих тяжелую, как слиток, широкую разбитую рабочую ладонь. Пустырь им открывается, заставленный египетскими пирамидами промышленного лома, два бульдозера тут же, маневровый «Ивановец»-кран, заползли и бегом разгружаться: вторчермет весь налево, медь и никель направо, все в молчании делают, добавляя еще сантиметры, килограммы вот к этим могильным курганам… и какой-то нажим вдруг на затылок Валеркин: припекает сильней и сильней – что такое? Обернулся – то самое! У соседней машины старьевщики, четверо, на него неотрывно глядят. Кто такие? Чего он им, а? И все четверо разом к нему, и еще двое к ним от весов, обступили:

– Этот, это, он самый, амбал. – Тяжелее все и тяжелее на Валерку глазами надавливают. – Что, паскуда, не ждал?! Не признаешь никак?! Как Кирюхе скворечник раскокал вчера?! Только так ломал наших, злее всех за Чугуева, гнида!

– Пересеклись пути-дорожки, прихвостень чугуевский! Все, бугай, мы сейчас тебя будем месить!

Ну конечно, месить – прямо счас… ему что – ничего под буравящим натиском этим: отродясь не дрожал, в животе не прихватывало перед кем бы то ни было, будь хоть трое, хоть пятеро, но ведь он обещал же, Валерка, заложился не лезть ни в какую зарубу – перед батей, перед Натахой поклялся… вот ведь жизнь: и не хочешь, а дерись, отвечай, никуда от войны ему этой не деться, и взмолился аж даже, на себя не похожий:

– Это самое, ребят… мож, не надо. Ну вот было и было, забыли, проехали. Еще больше ведь дров вот сейчас наломаем!

– Как ломал нас, забыл?! – И ногой его в ляжку, за ворот, наскочили втроем, навалились, на капот опрокинули скопом, безрукого, – не пускает он руки в простые движения,

еле-еле себя пересиливая и смиряя вот в этих тисках: не вломить, не рвануться всей мочью в ответную!

– Э, вы что там такое? – обернулся отец. – Э, пусти его, вы!.. вы чего, мужики?!

– Уйди, отец, пока не схлопотал! – Самый рьяный из всех отмахнулся – летит уже наземь, отцовской рукой за шкирмо, как кутенок, сграбастанный.

И споткнулись все, обмерли в непонимании, почему это он, их дружок, не встает, не встает прямо сразу… и уже на отцовский кулак все таращатся, взглядом пристыв, – руку каменотеса, вальцовщика, огородника, молотобойца, на штырек металлический, что зажат в кулаке этом черном и гнется под нажимом большого заскорузлого пальца в скобу.

– Да ты чего, мужик?! Да наше это дело!

– А вот того! Рядком не ляжете, но одного уж точно положу! – с клыкастым оскалом, звериным упором, отец их глазами, отпрянувших, рвет. – Что ж мне в сторонке, когда на сына впятером?! Когда вот так рабочие рабочего? Свои своего! Совсем с нарезки сбились, сопляки?! Так я сейчас резьбу вам прогоню! Он, может, и дурак пробитый, но он мой! Ну так чего, забыли, разбежались? Или друг дружке котелки расколошматим? Так чтоб на пару меньше рабочих человек на свете стало и на пару вот клоунов больше? Прибьете идиота, а мучиться-то будете как из-за человека!

И расступаются, глаза у всех куда-то подевались: нет сил поднять и прямо поглядеть ни на отца, ни друг на дружку даже… И на пути уже обратном, с пустым прицепом тряским на хвосте, Валерка не выдерживает, фыркает:

– Слышь, бать, а я уж и не вспомню, когда ты за меня в последний раз вот так впрягался – было ли такое.

– Поржать бы лишь, негодник. Лежал бы сейчас сломанный, и я с тобою рядом – вот смешно!

– Да мы б их, бать, с тобой там в штабель уложили! Слышь, бать, признать хочу: напрасно я тебя списал в утиль так рано. Смотрю – а ты еще любого на ручонках пережмешь. Теперь таких не делают! Вот мне б таким, как ты, в твои-то годы.

– Ты доживи до них, дурилка, до моих! С умом своим, скворечником дырявым… Ведь чуть же не убил, – сознался, как из-под земли.

– Кого, бать, кого?

– Кого сейчас вот от тебя оттаскивал и бросил, этого сейчас! Замкнуло все в башке, собою больше не командую. Уж если я такой, это какой тогда быть должен ты? Это ж вообще тогда не управляемый.

– Так ведь за кровь родную, батя, если так-то! Наверно, правильно, считаю, правомочно.

– Не лезь, Валерка, больше никуда! – с каким-то хнычущим бессилием попросил, и затрясло его, и с мукой выпускал – из-под плиты Валеркиной природы: – Как хочешь, понял?! Хоть руки «Моментом» по швам, но не лезь!

– Так я чего… я даже пальцем вон сейчас. Ну ты же видел: вытерпел, не стукнул. Значит, могу, могу себя держать. Давай за это, бать… – И на стекляшку придорожную кивает – вон она выплыла манком для всех закончивших тяжелую работу и надорвавшихся в бесплодии тягловых усилий, стоит вот тут с начала перестройки и ржавчины на всем могутовском железном, одна дорога в город, одна – не миновать.

Отец только по праздникам большим рюмашку пропускает – не знает этой радости угарной скоротечной, такой вот организм, не принимает, но червячка сейчас согласен заморить, от драки этой вот, задушенной в зачатке, отойти. Зашли, знакомым покивали. Графинчик у Томки со стойки забрали, тарелки с горящим борщом – мясцо вон на желтых костях, кольца жира.

– Ну, бать, давай, – костяшками сведенными ткнул в отцовы фаланги, опрокинули оба по капле, над тарелками молча склонились, заработали ложками, жвалами.

Исподлобья глазами стекляшку обводит – кирпично-обожженные знакомые все лица, угрюмо-терпеливые, жующие, распаленные. Жует – и поперхнулся, ложку даже выронил, расшибшись ровным взглядом о лицо сидящего в углу – лоб и скулы того, с кем когда-то на соседних горшках заседал и захлебывался смехом на всесильных руках изначальной молодой общей мамы; то лицо, первых дней, мягко-круглое личико, брызнуть готовое без утешной обидой, ревом, водой, проступило сквозь это намученное ежедневной бессонницей, страхами, затвердевшее в штурмах, осадах, акционерных подкопах кротовьих… Сашка, брат, там в углу! Невозможно живой, настоящий, непонятно, вообще какой силой занесенный сюда, в их босяцкий шалман придорожный, – с длинным кем-то, не видным в лицо, сепаратно о чем-то шушукается и не видит Валерку, не чует наведенного братского взгляда совсем, так его сейчас длинный собеседник магнитит, обращенный к Валерке пиджачной спиной.

– Ты что это, Валерка? Не в то горло? – Отец мосол обсосанный бросает.

– Ты глянь, бать, только глянь, – выпихивает еле из гортани. – Вот кто? Узнаешь?

И батя уже, обернувшись, на сына выпучивается – другого, второго, который от яблони очень… ушел вертикально во власть навсегда, на спутник сорвавшийся околоземный:

– Сашок! С Углановым Сашка, они! Чего они тут это, а?

С Углановым, точно – жираф же, жердина! Враги, выпить мозг друг у дружки готовые! С машерочкой шерочка! Нажала на темя Валерке последняя правда, и с режущей, вспоровшей ясностью увидел он сошедшееся все: рабочую несметь, кипящую перловку у заводоуправления, себя – стальным зерном, с такими же, как сам, спеченным и расплавленным в клокочущую лаву, ничтожного, затерянного, верящего, что сам определяет сужденное заводу и себе, и махачи ночные по цехам, и речи, поджигающие искры, гремучие заклятия вот этих вот двоих – зависших над схлестнувшимися лавами расходно-передельных сталеваров на сберегающей от брызг и щепок высоте. Из живота плеснуло чем-то в голову – уже и сам не знает, что такое захлестало и сквозь него качается насосами, чего теперь от них он хочет, даже не сам он, а еще вот кто-то в нем, Валерке, поселившийся, – сама собой пасть в крике раздирается:

– Сашка, брат! Не продавай Углану акции, не надо! Брат, я же кровь за тебя проливал! Ты же, брат, за завод! Ведь сожрет же нас, гад, вместе с домнами – ты же сам говорил! От него вся поруха! Ты ж наш могутовский, исконный, заводской! Ты ж ведь Чугуев, брат, и я Чугуев, мы! Вот тут же батя наш, а ты нас продаешь! Да ты живой сейчас лишь потому, что были мы! А то бы он тебя, Угланов, с корнем в первый день! Почем завод-то, Сашка, просто интересно! Вся наша жизнь – за сколько ты нас продал?!

А эти двое как сидели, так и сидят, угнувшись, маскировщики, со своей высоты будто вправду Валерки не слыша.

– Э, брат, Иудушка, чего как неродной?! Чего ж теперь? Ты брат мне все равно! Вот батя твой, на батю посмотри! Обнимемся, чего?! Проводим тебя с батей на личный самолет! – юродствует Валерка истово, но чует: вот на тот свет кричит, в могилу или сам – как из могилы в небо, в высоту, в буржуйскую галактику соседнюю, и не добить в глубь того космоса, в глубь мозга вот этих двух пришельцев высшей расы. – Угланов, э! За сколько взял нас оптом?! Ты не стесняйся, что там, ты ж не переплатишь! Уж через хрен-то кинул Сашку-дурака!

И поглядел тут Сашка на него из своего надзвездного далека, брат на брата, как на докучливую мелочь, как на утопленника вот, что подо льдом перед глазами проплывает и зацепился за корягу, не уходит. А этот, монстр, Угланов, божество, не шевельнулся даже, не потратился, и от упорства непроломной этой толщи, их поделившей навсегда на низших и

верховных, в башку его, Чугуева, рванулся кислород и распустилось в нем остаточное пламя: затопило взрывной потребностью вбить, доказать, что он есть, что живой, настоящий, есть в нем сила, которой нельзя не почуять, – потащило, сорвало с нестерпимого рабского места, из прозрачной вот этой его пустоты, не простит он которую им, разобьет:

– Что, сука, совсем там оглох, наверху?! Слышь, поверни ты свое рыло, когда с тобою разговаривают, величество!.. Ниче-ниче! Сейчас услышишь! Сейчас я, сука, до тебя предметно достучусь! – И в чугунном наплыве, расплаве сцапал ощупью твердое что-то и занес как гранату над башкой закипевшею – в голову!

– Стоять, Валерка, стой!

Отец вклещился в руку – в ощеренном больном усилии уберечь, но хлопнула уже граната монстру в голову, и взрывом повалилось все, и грохот: через поваленные стулья брызнули охранники – по головам и спинам смятых и разбросанных – и уже их ломают, обоих Чугуевых, гнут, и уже обвалился на колени отец с оскалом будто бы уже незаживающим, и мордой его в пол, в плечах ему вылущивая руки без пощады, а в нем, Валерке, – смысл уже последний: только не лечь тут мордой в пол, не поклониться, и не ломается, не гнется, разрывает, бьется о стены вместе с тушами, которые его в тисках своих сковали, приварившись… и вот менты уже вокруг, железо оружейное, кокарды-звездочки законной русской власти, один вцепился – в лоб ему Валерка, рассвирепели серые бушлаты:

– Руки, паскуда, руки в гору! Вот только рыпнись – на запчасти разберем!

Да только он, наоборот, их разбирает, несет на стены, на столы взбесившейся силой, в единой сцепке, спайке с ними разом рушится. И батя, батя с пола придавленную голову заламывает кверху, оскаленным лицом к Валерке тянется в предельном натяжении всех жил:

– Не надо, стой, сынок, не надо! Прошу, сынок, сдайся!.. Сын-о-о-ок!.. – И оборвался батин рык, словно упало, перерубив его, стальное полотно – так он кого-то снова молотнул, раз только двинул – и простор ему, дорога… во что-то мягкое, мясное наступил, заголосившее придавленной свиньей, и на свободу выломился, воздух… кусал его, всей ширью набирал, незыблемо себя поставивший, железно утвердивший перед властью ублюдочной, инопланетной вот этой, набирал и не мог надышаться никак, с такой режущей болью, с такой сладкой неспособностью вместить, что как будто была впереди еще целая жизнь, непочатая воля и как будто совсем ничего ему от беспредельности этой уже не осталось.

2

Неудержавшийся, бессильно обвалившийся на деревянную скамейку у стены, Саша впервые видел настоящего Угланова так близко – человека из кожи, с морщинами, родинками и заметной стерней на впалых щеках: сильный выпуклый лоб – словно кожух реактора на тепловых или быстрых нейтронах (ну навязывал, видимо, Сашин рассудок Угланову нечеловеческие, инфернальные прямо черты), песьи карие глаза с оттянутыми книзу острыми наружными углами, обезжиренное, состоящее из одних только острых, упрямых бугров, костяное лицо с прямым таким обыкновенным русским носом и тонкогубым, плотно сжатым ртом; какой-то изъян челюстного строения, недоразвитие, ущербный подбородок, но как-то вот не замечается, не видится как слабость – угадывается сила по тому, как смотрит человек. В прямом пустом и сильном этом взгляде не только Саши – вообще людей не содержалось никаких – настолько, насколько фасеточный глаз насекомого не дарит человеку ни малейшей задержки впечатления в своих несметных омматидиях; глядя вот в эти стершиеся о людей, не то еврейские, не то татарские глаза, Саша не мог отделаться от чувства, что монстр видит не лицо, не норов, не повадки – лишь электрические вспышки разной яркости, и только то, что может бить и резать, – явление ощутимой для Угланова покупательной силы, проходческой мощности – фиксируется этими участками открытой чуткой слизи.

– Женат? – поверх дымящегося кипятком прозрачного стаканчика бесцветно шевельнулись губы, и Саша обомлел от этого вопроса – казалось, навсегда обрезанного этой углановской фасеточной незрячестью – о человеческом, обыкновенном, земляном, расколошмаченной посуде, визгах, сварах…

– В смысле? – Он отозвался, как дебил, не понимая, зачем Угланову касаться личной правды позвоночного, млекопитающего Саши, перед тем как его уничтожить. Неужели ему интересно, охота тратить время на игры в «человечность» и «доброго»?

– В смысле детей еще не сделал?

– Нет. Пока нет… вот как-то не сложилось… – спохватчиво затараторил, вываливая перед Углановым свое интимно-нутряное, вытягивая кишки, струну отцовской гордости и прочий малоценный ливер… сейчас еще спросит: «А что так?» – и будет долго слушать и кивать тому, как у него, Чугуева, не вышло, и главное, он, Саша, сам себе не веря, почуял благодарную собачью готовность «поделиться»…

– А у Демида трое, – Угланов прохрустел завистливо. – Когда только успел. И палки мне в колеса, и эти вот… палки… А от меня жена ушла. Сбежала со всемирно знаменитым композитором. От меня, человека, который может дать вообще все. Я когда слышу что-то там про равные возможности, «всем по-о-о-ровну», меня всего прям так и выворачивает. Какое нахрен «поровну» в природе, когда другого любят – не тебя? Вот бабы не делятся поровну. Мясо с дырками – да, то, которое с подиумов продается в купальниках, а вот бабы живые, настоящие – нет. Даются одному. И никаких блокирующих пакетов. Исключительно личный стопроцентный контроль. И почему не мне-то, а? Несправедливо. И одно утешает: обязательно сдохнем когда-нибудь все и тогда уравняемся. – Нет, не с Сашей он – сам с собой говорил. И сломал сам в себе эту тягу – редчайшее счастье? – отключиться от акционерной войны за Могутов хотя бы на дление, сократиться до личного, до «души», «до любви», до того, в чем он нищим оставался, Угланов: – Ну так сколько Демид обещал тебе за размещение откинуть?

– Хочешь перекупить? – Пусть почует Угланов, что может не все, не всегда, пусть почует потерю, пустоту в своей пасти, когда самый крупный в России железный кусок вырывает из жвал его кто-то другой.

– Ты не в том месте пищевой цепочки, чтобы тебя перекупать, – сказал Угланов без желания унизить.

– Что ж, с Верхозиным будешь в арбитраже тягаться? – Чугуев упирался, напрягал заемные, подаренные мускулы, но не мог перестать быть червячьей слизистой плотью даже сам для себя.

– Это только ускорит… и не твою агонию, а завода. Пока я буду месяцы с Демидом воевать, опротестовывать, замораживать, арестовывать, временщиков своих тут ставить по банкротству – что от домен останется завтра? Ты же вроде туземец, Чугуев, ты должен, по идее, понимать, что такое огромная домна, которая закоченела чугуном. На какое еще дерьмо надо перейти вместо кокса, чтоб ты понял одно – что хозяин заводу был нужен вчера? Что забрасывать эти вот двести миллионов в машину надо было вчера? Чтобы ты расплатился за тонны, кубометры и ватты сегодня?

– Ну мы же вроде не на митинге. – Саша, не вытерпев, осклабился. – Ты про судьбу завода и рабочих для самих рабочих припаси. У тебя хорошо получается.

– Ну и мудак, – сказал Угланов даже без презрения. – Зачем ты живешь вообще? Ну, предположим, заведешь ты завтра Демида на завод, ворота крепостные ему откроешь ночью изнутри. Будешь считать, что нового хозяина на комбинат поставил – ты? Мне в спину что-нибудь пошепчешь мелко-гаденько: мол, получил, Угланов, обломился. «А мы пойдем на север, а мы пойдем на север». Ну кинет тебе в кормушку Демид чуть побольше, чтоб от сладкого в заднице слиплось. И будешь утешаться тем, что есть еще меньше тебя и слабее

ничто. И в этом весь твой смысл, Чугуев, в этом? Хозяином ты здесь по существу и не был никогда, потому что хозяин – это тот, кто завод может двинуть, поднять, а не только сосать из него. Или чего, пятнадцать миллионов разницы – цена вопроса самоуважения? Взять по размеру ротика с завода, – сложил из пальцев мышью пасть, – и сделаться богатым навсегда? А ты никогда не задумывался о происхождении слова «богатый»? Богатый, бог, богатство дал бог, богатый под богом и с богом, во что слабо верится, да? Сознание неправды денег в русской душе невытравимо, как сказала Цветаева или кто-то там, не помню, Толстой, может быть. Так кто такой богатый? И кто такой бог? Бог – тот, кто все может? Вон Березовский мне недавно: как, говорит, мне все тут, на Земле, обрыдло, а давай, Тема, в космос с тобою слетаем, снимем станцию «Мир» на двоих, чтоб из космоса на эту жалкую планетку посмотреть. И что он – бог? Принципиальной является способность к созиданию. Бог может создавать. Ну и богатый, значит, тоже. Сталелитейную машину, пашню, свиноферму, сооружения исполинского размера и дикой красоты вроде Амьенского собора, Днепрогэс и прочих пирамид Хеопса. А если ты создать не хочешь и не можешь ничего, богатым все равно не будешь, потому что нет воли к творению в тебе и под тобой земля не богатеет. За тобой сейчас выбор, Чугуев. Пугать тебя не буду, что посажу, в Урале утоплю, – перечислил с тоской немногие варианты он Сашиной участи. – Ты сам себя делаешь нищим и мертвым. Я взял себе этот завод, я сейчас под него подгребаю кузбасские шахты и сибирские ГОКи, это мой план творения, а Демид заигрался, в ГКО заигрался, в небесную манну и в валютные форварды, слишком много подгреб под себя без разбору: алюминия, меди, нефтей, чтоб он смог удержать это все. Ты знаешь, сколько у него в портфеле ГКО? На триста пятьдесят. И долларовых форвардов на столько же. При объемах таких он соломки себе подстелить не успеет, и как только рванет в Сингапуре и рубль упадет до упора, он мне сам этот город за копейку отдаст, да еще половину пакета Сургутнефтегаза в придачу. Поделиться с тобой, когда рубль обвалится? Веришь в то, что я знаю? Я тебе на салфетке сейчас нарисую зависимость от таиландского бата, чтоб ты понял наглядно, какой это будет накат, я тебе даже год, но не месяц скажу, когда все это будет, это, уж извини, мое личное, слишком интимное, чтоб делиться со всяким. Так что давай, Чугуев, втюхивай ему свои не размещенные на двести миллионов, я тебе лишь спасибо за это скажу – за то, что еще больше Демида обескровишь, привязав ему этот завод, как болванку, к ногам. Я хочу не об этом с тобой говорить, а о смысле. Иди под меня, работай со мной, и ты со мной свой родной завод разгонишь так, что рядом с нами Миттал карликом покажется… – Показал, как способен он нечеловечески далеко заглянуть; зацепила Чугуева и потащила сквозь валки беспощадно-машинная сила, затягивая в следующее по классу измерение мышления, и в этом не было нисколько почему-то унижения – в том, что Угланов брал его на службу: не становился Саша меньше, меньшим, чем ничто, на отведенном ему месте, под Углановым, а вырастал, наоборот, вместе с могутовским заводом, что поднимался, весь обросший ржавчиной и илом, из трясины и становился великаном на словах, все объясняющих углановских словах… Но вдруг споткнулось все, Угланов замолчал – из-за мелко-досадного рядом: просто в хозяйстве судомоек за стеной упала со стола тарелка или сцепились спьяну двое работяг… Кто-то кричал, и он не сразу понял, что это им кричат с Углановым, ему:

– Не продавай Углану акции, не надо! Ты ж ведь Чугуев, брат, и я Чугуев, мы!.. – Брат-идиот, Валерик, глотку рвал на том конце сарая, стальной колун безмозглый, питекантроп, пролетарий восставший, не знающий сам, чего хочет, и отец их, отец, пролетарий прикованный, в обороте ел Сашу глазами – безнадежно-взыскующе и с гадливой мукой, со знакомым, всегдашним при взгляде на сына выражением лица, и ничего не чуял Саша, только стыд за надрывавшегося лаем кровного дебила, да и не стыд, а просто неудобство: не имеет значения, что брат, – просто вырвался вот из палаты для буйных какой-то… просто сейчас они с Углановым подымутся и выйдут, заградят их от крика, аварийного рева охранные спины…

– Брат в смысле брат? – спросил Угланов с мигнувшим спичечно-коротким интересом: тоже сейчас его, наверное, насмешило, как поделились братья, род, семья: один пошел вверх навсегда, в стратосферу, другой окликает с земли того: «Брат!»

– В семье не без урода, – пожаловался он Угланову, похвастался: видишь, я из каких, из простых, худородных, и поднялся откуда, себя сделал сам – Угланов надломился какой-то лицевой долей от гадливости – не к низовому брату-доменщику, чернорабочему железному, а к Саше… И не успел он, Саша, даже вздрогнуть – так сразу ударило в кость, в обшивку реактора твердым предметом – Угланов ужаленно дернул бесценной термоядерной башкой, как дергает ей засыпающий: где я?.. поймал закипевший затылок руками, и взрывом обрушилось все – ломанулись, как лошади через барьеры, к разбитому – не устоявшему?! – углановскому черепу охранники.

– Тема?! Живой?! – ощупывали мамки голову дитяти-переростка, размазывая по затылку выжимавшуюся кровь: кровь полыхнула, яркая, внезапная, точно такая же проворная и красная, как и во всех обыкновенных человеческих устройствах, как из разбитого в четвертом классе носа… и с ликованием, испражняющейся мускульной дрожью спасенного парнокопытного: – Цела! Ниче-ниче, цела! Полет нормальный!

Метрах в пяти метался, вскидывался конь, раскалывал пластик столов, переборок; отец что-то кричал, придавленный коленом к полу и заламывая голову с незаживающим, собачьим, рвущимся к детенышу оскалом; взбесившаяся сила бросала оплетенного руками, обвешанного тушами Валерика на стены, без разницы, чем, обо что, – Чугуев ничего не чувствовал к Чугуеву, не чувствовал: брат, сейчас там убивает себя брат, сейчас станет меньше Чугуевых на одного; какой-то отключился в Саше переводчик со внешнего на внутренний язык, а может, он уже давно в нем отключился, порвалась эта жила в нем, нить, отведенная в каждом для голоса крови.

Угланов качался стоячим утопленником в подперших охранницких верных руках, ослепший, оглохший, но точно живой… затлелось разумение в глазах – рванулся, стряхнул с себя с бешенством руки: не трогать! он сам!.. мазнул по затылку ладонью, вгляделся – в размазанного слизня, в собственное масло, во что-то насочившееся из разрывов топливного шланга… в металлических искрах и грохоте завалились менты с автоматами, и как зверь, из отца рвется так, что у Саши кипятком обливается сердце:

– Не надо, не надо, сынок, я прошу! Отставить, Валерка!.. С-с-сыно-о-о-к!..

Кто-то упал из серых с костяным стуком тяжелого предмета о широкую и твердую поверхность, крики «Стоять! Положим, падла! Стой!», и стенобитной гирей, лосем, в осенний гон лишившимся и зрения, и слуха, Валерка – в дверь, на волю, за флажки, стоптав еще кого-то закричавшего от боли, и нет его уже, за ним метнулись серые, срывая автоматы с плеч, ремни… есть только тот, кто растянулся, грохнувшись, и не встает с упорством неправдивым.

Угланов дление кратчайшее повглядывался туда – во что-то связанное с болью в собственном затылке, вбитой в него так скотски глупо и нелепо, с непредсказуемой кривизной, камнем в небо, – и без вопросов двинулся на выход. Со всех сторон прикрыли его спины, плечи берегущих, зацепив, потянув за собой и Сашу, по маршруту хозяина, крупного зверя: не отставай, если ты взят на службу, в состав углановской проходческой машины, не становись преградой для нее… но зацепился за косяк и развернулся, словно на веревочке, телесной нити, отведенной в нем для родственного чувства и не порвавшейся, выходит, все же в нем.

Четверо серых сгрудились над срубленным и тормошили, дергали, тянули на себя, как из невидимой воды, из проруби, накачанную тяжестью, непоправимо обесточенную тушу, с надсадом корчуя и тут же обваливаясь скопом под этим грузом несомненности: «Ну что ж ты, Палыч, что ж ты?..» – еще его как будто уговаривали, не признавая этой недвижимости,

не умещая эту окончательность: как же могло так быстро и так плево это сделаться? – и обижаясь, злясь на своего, всех придавившего, связавшего их Палыча: что ж ты дал себя грохнуть, когда должен быть цел?

– Ну, сука, все! Валить его, валить! Предупредительный в башку, на поражение! Пошли, пошли за ним на трассу! Пока в кусты не гущанулся, отморозь… валить! – Прогрохотало, стихло – и во вмуровывающей Сашу в отупение тишине прорвался, как из-под земли, утробно выкипающий, с бесповоротностью задавленный подвыв, и будто что-то хрустнуло в отце, самое сильное, что было в нем, скрепляло: всеми забытый, брошенный отец стоял средь кафельной пустыни на коленях, глядя на Сашу и сквозь Сашу со стариковски-хнычуще затрясшимся лицом, и выжимал из разоренного нутра насилу собираемое, словно у Саши спрашивал, вот с Саши за Валерку:

– Что ж ты наделал-то такое, а, сынок?..

3

Дышал и не мог надышаться никак.

– Стоять, паскуда! Лег! На землю! Мордой в землю!

Вот даже ни полвздоха – настиг один, вцепился, повисли уже двое на плечах… одна уже потребность у Валерки – в просторном вольном холоде: чтоб длился, не кончался… Рванулся, сам себя как будто выкорчевывая, как из земли, как из корней, его оплетших, – опять идет свободным, не оглядываясь.

– Стой, сука, завалю!

И лязг уже железный за спиной, и треск сухой и крепкий, словно в самой его башке сломали об колено толстый сук, – обдуло, опалило порывом смертным темя, и вздрогнул всею тушей, как корова, вмиг резвым став при выстреле пастушьего кнута, и снова треск в ушах, и стекла в «москвичонке» их ослепли, обындевели, провалились снежным крошевом, и в проварившей его стуже через дорогу ломанулся, под колеса, в резиново упругие, бодливые кусты, на сучьях оставляя клочья всего чего угодно – кожи, мяса, лишь бы уйти от стука этого простречивающего швейного, лишь бы дышать, лишь бы сейчас не продырявили… Как лось, все принимающий, что движется, за самку: найти ее, настичь, предназначение исполнить, что внушено всему живому… срезало ветки, размочаливало рядом – защитным навыком неведомым валился и вжимался в окаменевшую нехоженую грязь и подрывался снова сквозь валежник, с каждым скачком все дальше оставляя хруст настигающий и треск, что полыхал в чащобе за спиной… И все, ушел, продрался на простор и задыхался ликованием, бесповоротно отсеченный от охотников ночной тьмой и буреломом… И, не разорванный, не чующий, помимо силы жизни, ничего, неуязвимым, невредимым ванькой-встанькой спотыкался и падал, толкался, бежал по кочковатой мерзлой пахотной земле, всей силой жизни заставляя с каждым скоком жилые башни вырастать на горизонте, пока не станет видно прутики антенн и бельевые паруса на проводах… Чего ж шмалять они в него так сразу?.. И вроде вырвался, живой, не жрет его животный страх перед «не жить» вне разумения, но продолжался будто гон, летел за ним, чье-то дыхание, накатывая мощно, било в спину, не человеческое, нет, а вроде доменного жара, и раскаляла, жгла потребность оглянуться: точно ушел? точно за следом никого? И еще пуще припускал, не уставая, и все никак не мог порвать и выскочить Валерка, как из штанов своих, из кожи, из ощущения беды несправедливой, в которой он, Валерка, виноват, из недозволенности, что ли, беззаконности, недопустимости своей свободной жизни; не за спиной, не вдали, не на плечах, а в нем самом, Валерке, это было – невытравимая, непродышная подсудность, кровь останавливающий гнет нечаянно вышедшей, содеянной неправды. Вот ничего вокруг не поменялось, и от того еще страшнее: родные улицы – родной кусок земли со вкусом ледяной воды с колонки

у калитки бабы Фроси – его как будто совсем не узнавали: не человека, человечески понять его нельзя… Быть может, собственный вот дом его узнает: там его ждут, любым там будут его, Чугуева, любить, прощая и спасая… И завыл – от этой мысли вот о доме, о прощении, – и чем сильней ломился к дому, тем от него, Валерки, больше убывало. На потерявших прочности ногах, сам отставая от себя, как разварившееся мясо от костей, вбежал в калитку, на крыльцо, толкнул незапертую дверь – и никого: забросили, разграбили, он отдал, он свой дом на разграбление, тут ему верили: что не способен он предать, не возвратиться… и не сдержал он, не исполнил службу… Гнал по цепочке свет из комнаты в другую – уперся в стенку, дальнюю, последнюю, в ковер над ледяной заправленной кроватью… И вот на двор опять, пропажей зараженный, через забор скакнул, по улице несется. Ушла, ушла, как обещала, – смех по нутру Валерку хлещет, и снова вой напрасно-покаянный «ау-ы-ы-ы-ы!» из пасти его рвется… в морозном поле, на ветру, под небом… И вот услышан он – бежит к нему она, на этот вой его пропащий о спасении метнувшись, с лицом как скачущее пламя, сбиваемое ветром на лету, почти что гаснущее, но неубиваемое… Не долетела – налетела как на чугунную плиту: все поняла, увидела насквозь, что он принес в себе и вывалит ей под ноги… И тут же хлынул, ослепил, сожрал ее лицо жестокий белый свет, из-за спины Валеркиной ударил и затопил всю улицу, природу… Оборвалось в нем сердце, рухнуло, вернулось, толкнув к Натахе – жить биением в ней, и в белом поле слепоты сцепились руки, за собой рванул, побежали, как один человек, от машины, от света.

Полотнища косые метались за спиной, свет обрезался поворотом, вырастал, свет, от которого не деться никуда, – полз милицейский «воронок» неотвратимо… и на зады, через плетень поваленный они, по огородным грядкам бабы Фроси и под откос с разбега кубарем, в овраг, в кровь разбиваясь общим телом. И приземлились непонятно где и как, и темнота, и боли нет совсем, среди будыльев рослых, в дебрях берегущих, как ложка в ложке, в тесноте лежат, как лезвие в рукоятке складного ножа, дружка в дружке.

– Натаха, это… видишь… – в лицо ее горящее выдыхает, – чего-то наломал я дров… совсем…

– Что сделал, что?! – под ним она шипит и из него глазами тащит.

– Да сам не знаю, сам, но сделал. Натаха, я раз только двинул – а он так разлегся!

– Ведь знал же, гад, знал про себя: убьешь, если пойдешь… Себя убьешь, всех нас…

– Так я не пошел! У бати спроси, не пошел! В шалман зашел с батей, в кафешку! И Сашка там с Углановым, Натаха!.. Встреча у них там, тайный сговор, как им между собой завод наш поделить. Так я сказать хотел, чего они нас так-то… Ну и менты тут эти прицепились… Наверно, все, Натаха, больше не отцепятся.

– Зачем, гад, зачем?! – не то его выпихивает вон из своей жизни, не своего уже Валерку, вот не человека, не то, наоборот, не может отпустить, так он в нее вошел, так въелся, глубже некуда. – Ты же себя, ты же меня, ты все во мне убил! – И с непонятной, напугавшей его силой что-то утробно дрогнуло в жене, надорвалось под ним в ее кричащем животе, и ничего не понимал, лишь стискивал ее порывисто забившееся тело, исхоженное вдоль и поперек, как собственный кусок, надел земли, полученный в кормление от жизни, и в то же время небывалое, совсем вот незнакомое ему, настолько оно стало им самим, его, Валеркиной, частью и вместилищем – Валеркиной крови, всей будущей жизни… Впилось ему в кадык, стамеской меж ребер понимание, что ближе и роднее, чем сейчас, она ему еще, Натаха, не была, не будет человека ближе никогда, и только это началось, так тут же и кончается.

– Что?! Что?! – выспрашивал у родного, отнимаемого тела, расплющивая нос о мокрую скулу и силясь что-то внятное расслышать сквозь подступающую к горлу ее воду… И услыхал то, что его, Валерку, оживило и тотчас же обратно уничтожило, добавив «без отца» к невнятной «…щине». – Что ты сказала?! Это ты про что?!

– То, то! Про что беременна… – и обмерла, не билась больше, оцепенелое, глухое, ниже травы, само себе не нужное и никого не греющее тело. – Без обмана, Валерик, я знаю по-женски. Как нарочно вот, да? – словно сослалась на чужую волю.

И так вот это страшно было, больно: то, что должно было им дать несокрушимость общей жизни, теперь ее, Натахиным, отдельным грузом стало – и как она теперь должна его нести? Одна надолго, столько не живут… из-за него, он сделал так, Чугуев, как не должно, как не имеет права у людей!

И тут же шорох в вышине растет над головами и пережевывающий, перемалывающий хруст, лучи фонариков по склону заскользили, по ледяной траве заиндевелой, по кустам, в земляную постель, в травяную их норку просунулись, полоснули, вспороли – затопил весь овражек безжалостный свет.

– Чугуев, гражданин Чугуев! Знаю, знаю, ты там! Добегался, лосяра, вылезай! Вылезай или там и останешься!

А вот бы и остаться тут ему, без разницы, запустив в себя медленный холод земли и почувствовав радость подчинения чужой окончательной воле, стать только этой отцветшей, ожесточившейся травой, только бездумным сорняком, молчанием перегноя, и не мог сократиться до травы он, паскудник, – вот такой под ним нестерпимо живой Натаха была, не могущая принадлежать земляной этой смерти, в которую он ее вдавливал, пусть и оцепенела, оглохла сейчас – с Валеркиной частицей, что вобрала в себя всей силой женской сути, с зачатком новой жизни, что неслышно, до жути беззащитно зреет в ней с великой безрассудной жадностью и собственной, целиком подчиняющей бабу себе правотой.

– Вылазь, вылазь, сказал, Чугуев! Девчонку пожалей! Перед посадкой не натешишься. Потомство, что ль, решил перед концом заделать в лопухах?

И смех их продирает, любовников овражных, сорняковых: заделали, заделали уже они, успели, сами не зная, отчего такая спешка, сами не ведая, что если не «сейчас», то никогда уже у них не будет.

– Мочить не будем, слышишь?! Отвечаю! Жизнь гарантируем, Чугуев, жизнь!

– Жизнь гарантируют, Натаха, – надо жить!.. – Как один человек, смехом давятся рвущим и не вытравят горечи этой никак.

Отец

1

Цеплялся за руки, за плечи, за погоны тех, кто топтал его, чугуевскую, правду, всю его прочность, в сына перелитую, и запинался, падал, отставал, вновь подрывался, снова настигал, снова молил по-рабьи, по-собачьи:

– Прошу, не надо, мужики! Не надо, брат, стой, не стреляй, я прошу! Я приведу, я сам его доставлю! Ну сын мой, сын! У вас ведь тоже отцы… Ну вот прибил – заплатит по закону… – И ничего не мог: отпихивали, стряхивали его в горячем помутнении охотничьего гона, вис на плечах, по автоматам бил плюющимся, раскаленное дуло тянул на себя и к земле, проржавевший железный старик с издыхавшим сипением в дырявых, навсегда разрывавшихся на бегу в нем кузнечных мехах.

– Уйди, отец, уйди!.. – Сами себя в догоне измочалили: не их, охотников, – так жизнь саму, выходит, он за Валерку умолил.

А для чего? Чтоб дальше что? Вот что его остановило, проморозило, когда из тьмы ночной, из дебрей выперлись на свет менты со ведомым, понукаемым Валеркой, который смеркся всей своей широкрудой грузной мощью, который весь стянулся, каждой каплей жизни в то место, где защелкнулись железные браслеты; будто какой жизненно важного значения сильный сок ушел из мышц его, из опустелого лица. И то же самое с Наташкой Валеркиной было – не голосившей похоронно, не цеплявшейся за рукава усталых конвоиров, будто уже отплакавшей свое, до горькой сухости, до пустоты в осадке.

Уж лучше б шлепнули – такое накатило, противное родительскому естеству, – чем дальше жить ему вот так, приговоренным и в окружении ублюдков человечества, быть зверем там, где можно – только зверем, да вот и то не факт, что долго проживешь. Десяток лет – убийство есть убийство – срок наказания, заранее известный, его, Чугуева, проламывал: уж не дождется он, скорей всего, Валерки, не дождется.

Мать, как узнала, что Валерку забирают, охнула так задавленно-утробно, будто «роди меня обратно» вдруг у нее большой Валерка попросил, будто пропихивали сквозь ее сухое, отвоевавшее за жизнь детей живородящее естество и раньше срока загоняли первенца в могилу, всею слабой остатной силой противилась, не пускала и не отдавала.

А общая жизнь заводская катилась мимо них, Чугуевых, по ним, ничем не отозвавшись на исчезновение Валерки, не заметив всего-то одного в несмети друг с дружкой воевавших работяг, как не заметила еще десятков покалеченных, убитых и убивших в помутнении, как не заметила окаменения Наташки, паралича еще десятка разбитых личным горем жен и матерей; рабочий молодняк рубился по цехам еще семь суток кряду… и внезапно у всех над головами отключился сам собой источник излучения, всем вынимающего мозг, и закричал обыкновенный, созывающий на проходные всех могутовских железных, неистребимо настоятельный гудок, с такой привычностью, словно кричал все это время и никто из воюющих его просто не слышал.

Отсеченный, отставший от жизни завода, он, Чугуев, пошел на гудок и попал в первомайскую демонстрацию будто: машинисты, литейщики, агломератчики шли рядами единообразной, про себя понимающей что-то новое, важное силы, с навсегда позабытым, казалось, ощущением сцепления каждого с каждым; перепутались эры, эпохи, состояния умов, поколения; люди с ясной решимостью двигались в направлении чего-то обнадеживающе прочного, щурясь будто на солнце, которого не было. Вместо солнца горело на фасаде дирекции, полоскалось и хлопало огневое полотнище с новой комбинатской эмблемой – треуголь-

ником черным Магнитной горы, заключенным в зубастую шестерню-колесо, и повсюду гремела и лязгала новая музыка, совершенно не схожая с маршами прежней эпохи, из которых за время разграбления родины испарился их смысл, но с такою же властностью бившая в уши, подымавшая всех на работу тем же вещим предчувствием невозможности остановить и сломать жизнь завода, вечный ток чугуна и вращение валков, что раскатывают сляб в полотно высшей прочности; непонятно откуда взялась эта музыка – приобщающая человека телесно к еще только задуманной и еще не построенной новой стране, где железные умные мощности побеждают начальную земляную бесформенность и бездарную мерзость новой русской разрухи.

И пошло по рядам уже всюду братание: те, кто бились вчера смертным боем, с тем же остервенением теперь обнимались, так, что ребра едва не трещали в тисках, и Чугуева тоже ловили и тискали: «Э, Семеныч, очнись! Что ты как неродной? Миру мир, отец, все! Миру мир и зарплату за три месяца всем. Ну а там поглядим! Там упремся и вытащим себя сами за волосы! Уголек и руда – что еще сталевару для жизни-то надо?» – «Как и не было, да?» – Он свое выжимает сквозь зубы, никому не понятное. – «А что ж такое было-то, Семеныч? Ну, того мы малеха, походили в забив, покалечились. Так ведь не насовсем! Заживет все до свадьбы! Жизнь, она продолжается! Жизнь!» – «А Валерка мой как же? Тоже не насовсем? Где Валерка мой, а? Тоже не было?» Столбенели, терялись на короткое самое время: «Ну, такой он, Валерка. Валерка, он и есть Валерка – что уж тут?»

2

Сын-убийца сидел на скамье подсудимых ссутуленно: пристывший взгляд упрятан внутрь, уперт во внутреннее небо, до горизонта полоненное колючей проволокой будущего; лишь временами что-то у него проскакивало искрою в зрачках – мгновенный промельк разумения большего, чем у растения, у камня, и, будто тронутый родной рукой за плечо, начинал озираться вокруг и проваливался в опустошающий взгляд своей матери, которую так глупо обнесчастил, – темнел лицом, пошедшим желваками, в немилосердном скруте боли и стыда; крутила в жгут его вина – перед заметно, по минутам старившейся матерью, перед своей Натахой, опрокинутой в безлюбье и бездетность, в сухую воду непосильной верности и неизбывного вдовства… перед всей силой общей крови их, чугуевской, которая теперь не может течь свободно, и перед всей чужой остановленной кровью – вот перед маленькой, сухой женой и такой же маленькой, щуплой матерью пришибленного насмерть им сержанта Красовца: пришли на суд они и выедали убийцу своего зеленого Алешки с запоминающей, пустой, не приносящей заживления ненавистью.

Вот в этом все и было дело – соль суда после выпаривания прозвучавших показаний, пустой воды допросов, протоколов, экспертиз – не в том, что люди власти и закона хотели самой полной меры для Валерки (и что для них, ментов, убийство одного из них было серьезней, чем убийство просто человека), а в том, что сам Валерка осязал: зрел приговор не в голове потливого судьи – в самом продавленном виной Валеркином нутре, в готовом, чистом виде содержался в воздухе, которым нельзя отказаться дышать, и если б сделалось сейчас как-то само – купил бы Сашка судей всех за миллион – судья бы вышел к вставшему народу и огласил с бумаги: «невиновен», «освобождаем из-под стражи», «уходи», то он бы сам, Валерка, не ушел, не смог бы выползти на собственных ногах из-под плиты корежащей неправды, вот он бы сам, отец-Чугуев, отказался иметь с Валеркой дело как с живым. По нижнему пределу? За что? За человека? Две правды в нем, отце, за сына, против сына воевали: вот должен был Валерка ответить с полной выкладкой, зиянием, провалом законного, положенного срока – по справедливости, по мере непоправимости того, что натворил, и если суждено ему, Валерке, остаться в том провале насовсем, то значит, так тому и быть; но пусто-

той незаживающей в нутре, вне разумения, вне совести хотелось, чтобы сын поменьше получил, чтоб он его еще дождался, Анатолий. И знал, что невозможно дождаться его прежнего, железного и не поеденного ржою созидателя: ломаются там люди еще больше, не выправляются тюрьмою, а, наоборот, выходят не годящимися для нормальной жизни человеческой, – вот что в нем, Анатолии, кровило и не могло зажить до самого конца. Все, все, стервец, убил. Их с матерью, что из себя его, такого бугая, выдавливала с кровью. Жену свою Наташку. Сам себя. Нерожденных детей своих будущих. Сноха, она чего – простужалась стоймя на ноябрьском лютом ветру перед задраенной железной дверью изолятора – передать от себя хоть частичку Валерке, разрешенные жалкие вещи первой необходимости: кружку, суповую глубокую миску, тарелку, туалетное мыло, безопасную бритву, сигареты в прозрачных пакетах. С неутешной надеждой повстречаться глазами, вобрать, на минуту припасть к стервецу своей мягкой, легкой тяжестью, за минуту сцепления рук, спайки губ, животов передать ему веру, Валерке, поверить самой: не закончилось то, что когда-то начиналось у них у ДК металлурга на летней танцплощадке под белой тополиной метелью, начиналось с обмерки взглядом с ног до макушки, и нахальным осклабом вот этого бивня, и сердечным обрывом, обмиранием в ответ, теплой тяжестью мокрого платья и рубашки под ливнем, одуряющим вкусом грозового июньского воздуха, оглушительной радостью первых совместных шагов, ненасытной близостью первого раза – не забудется это, не может пропасть, прогореть без остатка, как не было; что бы ни было, кем бы он, Валерка, ни сделал себя, все равно не предаст она изначальное счастье первых дней и ночей, никогда не признает, что оно не имело значения; как бы ни было, а не растащат их с Валеркой суд и тюрьма, пополам не разрубишь магнит, и его не согнут, не сломают, Валерку, ведь она будет ждать, и поэтому там его не сломают, с ней еще он сильнее, с ней он знает, зачем ему жить и к кому выходить на свободу. Пусть пройдет много лет и устанут все ждать, позабудут, что вообще был под солнцем Валерка такой, вот на этом заводе, на этой вот улице, но она не забудет, простила ему, что их общую жизнь испохабил; будет жить для того, чтоб в последней день неволи, тюремного срока его наконец-то пойти ему, гаду, навстречу, с вещим чувством заслуженной, сбывшейся правды, пусть какому угодно Валерке навстречу – потемневшему, выгнившему изнутри за все годы, зараженно-больному и униженно-ожесточенному, ничего не несущему больше в себе, кроме голой, обугленной злобы… вот в глаза ему снова – только это имеет значение.

Так она обещала им всем, хотя он, Анатолий, не верил, что сноха будет помнить Валерку омертвением женского своего естества, молодого, здорового, щедро-жадно способного к деторождению. Дело было не в слабости на передок и не в падкости на удовольствия материального рода – дело было в природе самой, в бабьем предназначении: это может сейчас она клясться, даже верить сама, что дождется, переможет и вытерпит, но с годами сильней и сильней будет жечь ее – собственная неизменная бабья сущность: перестать быть порожней, неплодной, сладить новую жизнь еще с кем-то, быть кормящей матерью под надежной мужской защитой, и, конечно, она будет неосудима в своей этой потребности, тяге, что потащит ее от казенных ворот, от колючки, за которой Валерка, и выдавит замуж за ближайшего сильного, прочного, пробивного, надежного да и в общем какого угодно, лишь бы мог ее матерью сделать… И опять его с силой остегивала и сосала нутро боль за сына: сам себя он, Валерка, отрезал от будущего, бьется кровь молодая его в тупике, не могущая больше предъявить себя миру ни в чугунном потоке, ни в режущем крике новой подслеповатой человеческой гусеницы.

Нанятый Сашкою речистый адвокат Рожновский увертливо и ловко нажимал на невозможность установить причинно-следственную связь между Валеркиным ударом парню в лоб и оказавшейся смертельной затылочной травмой; никакого Угланова – как еще одного пострадавшего – не было, «человека, с которого все началось»: не явился, конечно, он в суд, рыбоящеры не выползают на сушу, и судья через три с половиной недели удалился писать

приговор и вернулся спустя полчаса, как вбежал, – «суд идет!», и стоял он, отец, в скруте точного знания, чем кончится; перестав быть обычным человечьим устройством, судья в черной мантии вырос и, прокашлявшись, скороговоркой зачитал с листа неразличимое, прошуршавшее и прогремевшее каменной осыпью в шахтовой тишине ожидания, и, заваленный, сдавленный, замурованный в эту породу стоймя, он, Чугуев-отец, различил только главное: «…к тринадцати годам лишения свободы…», и из этой вот кучи породы видел только сыновье, с фамильными скулами, подбородком и носом, лицо: ничего нового Валерка не услышал, глаз на лице его не обнаруживалось, никого не искали глаза, и, повинуясь, двинулся из клетки туда, куда его продавливали скучно конвоиры… и вдруг застрял в дверях, как дал по тормозам, – будто на крик башку заворотил, а может, и вправду на крик заклинающий: кто первым был, и не понять: не то Наташка полетела криком вслед за ним, не то он сам сначала, первым натянулся в усилии остановить прорвавшее плотину, хлынувшее время.

– Валерочка, рожу, не сомневайся! – Натахин крик Чугуеву-отцу меж ребер впился, проткнув до чего-то, способного торжествовать. – Рожу тебе, рожу, и будем тебя ждать! Валерка, слышишь?! Будем ждать! Ты это помни, этого держись! Что это будет ты и я!

И устоял Валерка перед черной прямоугольной пустотой, и на мгновение расперла его сила, сделав несгибаемым, не насовсем, но вот сейчас услышал то единственное, что не давало ему сразу развалиться.

Вот, значит, как, постиг Чугуев с режущей, освобождающей болью и любовью, – будто бы чуяли они и постарались перед разлучением очень сильно… Сын отпустил дверные косяки, протолкнули его в черноту, в пустоту, и Натаха без видимых сил, но с какой-то внутренней, кровной наполненностью опустилась на чьи-то подхватившие руки, стало ясно Чугуевым всем, остающимся без Валерки на страшное время, – появилось, куда дальше жить: полыхнет сквозь седую кору ослепительно новая искра, распуская нетвердый чистый, слабый зеленый листочек, завелась в животе Наташки машинка будущего, жизни, не признающая никаких «устал» и «не хочу», зацепила Чугуевых – мать и отца и тащила, заставляя вертеться, заставляя тащить.

Не могла зарасти, затянуть пробитая в каждом Валеркой дыра, но и с этой опустошенностью продолжали они вместе с Машкой Валерке служить, делать будущее, которое не мог теперь тот делать сам, и носилась Мария с Наташкой, как курица, говоря про себя и сноху постоянно: «мы», «мы» – «мы ходили», «мы ждем», «мы поедем»; третий был в этом «мы» – пока еще неслышимый, не выперший во внешний мир надутым материнским чревом, и Валерка был тоже заключен в это бабье служилое, терпеливое, радостно-горькое «мы» – словно в невидимый какой, но осязаемый шар берегущего тепла и убежденности в возможности спасения. Только это им было оставлено, бабам, как хлеб, – беречь мужа семя, растить сына плод и без устали, пыточно ждать, когда будет дозволено первое им с Валеркой свидание – право вжаться и впиться, захватить и ощупать, накормить его, бритого, сытной домашней пищей хоть на день, хоть на час, вот лицом своим, телом, живой водой… а Сашке ничего не стоило устроить, чтобы местом отбытия срока Валерке назначили не Крайний Север, не тайгу, а – всего в трех часах на машине езды! – обнадеживающе близкий Бакал, бакальскую колонию строгого режима, назначенного всем убийцам и насильникам: над переменой режима даже Сашка был не властен.

3

Ежедневное кровотечение в нутре, и чтоб как-то унять его, каждый день подымался в шесть часов и шагал в свой родной ЛПЦ № 2, только в стане, изношенном так же сильно, как сам он, Чугуев, находя на служебное время спасение, способность не думать уже ни о чем, кроме смены проставочных полуколец и доводки винтов нажимных в поперечине

каждой станины, чтобы до заусенца был выдержан каждый зазор меж валками. С еще большей жестокой нежностью воевал за живучесть прокатной машины, с еще большими остервенением и злобой на промашки и тупость подчиненных бригадников: «Что ж ты, сволочь, гужену вкрутил мне в валок и через это мне все дело перепутал?! Что, трудно шпон пробить было под винт, а не валок засверливать, абортная ты жертва?! Это ж погиб валок, продольно завтра треснет! Что, каждый раз так будешь пересверливать? И после этого чтоб я тебя к машине подпустил?! Какую гайку, бездарь?! Основную! А ты мне контргайку, бестолочь, свернул! Ведь основную, основную на полнитки – разницу сечешь? Это каким вообще сознанием надо обладать?!»

Захлебывался гневом на этих вот вредителей-скотов, и что ж ты думаешь: забегали, как будто пятки скипидаром им намазали, раньше вот только скалившие зубы на все его, Чугуева, плюющееся бешенство и равнодушные до квелости молодчики. Срывались с ног поджать указанную гайку и отлизать ее, огромную, до гладкости новорожденного железного младенца – будто почуяли, прониклись, наконец, его, чугуевской, правдой, правдою машины, что теперь растекалась, казалось, не только от него одного, не от одних лишь старых мастеров по всем цехам, а откуда-то сверху…

Ничего не менялось вещественно ни в одном из цехов, точно так же скелеты и артерии их на пределе терпения, умаленной живучести старика, инвалида, выносили нагрузки, форсировку литья, обороты проката, надорваться готовые в самых нежных, ответственных, ломких местах, но вот что-то при этом в самом, что ли, воздухе сделалось, что уже не давало рабочим с равнодушием скота относиться к доверенным им участкам плавильной и прокатной цепи… Он, Чугуев, давно и забыл о явлении нового собственника, воцарение которого на комбинате обошлось ему – в сына.

И вот сделалось так прямо здесь, в ЛПЦ, на его месте службы, что вспомнил. На своих вот орал, на Витька Колотилина из-за бронзовой гайки нажимного винта: «Расколол! Кто мне бронзу сейчас даст взамен?! Может, ты?!» И еще чей-то крик к его крику добавился, долетел и добил до ушей сквозь литой, ровный гул, из которого для рабочего и состоит тишина, – невозможный крик-выдох придавленной и зарезанной в сердце свиньи, и на крик все, конечно, повернулись рывками: что такое? откуда и куда кто упал, вот во что затянуло и на что намотало?

И такое, чего быть не может вообще: Куренной и Бакуткин лосями бегут – вдоль прокатного стана, как вдоль разогнавшегося отходящего поезда за сбежавшим, захваченным и утащенным с необратимостью счастьем, за жизнью, двое крупных и сильных, отменного выкорма, сановитых мужчин, сократившихся вмиг до трясущейся парнокопытной потребности жить, чуть ли не испражняющихся на бегу от огромного страха… И за ними, над ними с неуклонностью катится и летит над валками налитой обожженным вишневым сиянием сляб, вырастая, вытягиваясь в огневое литое подземное щупальце: все едино достанет, прожжет и приварится – Гугель, Гугель повинных в аварийных разломах и срывах, тот, чья эта рука… И вот точно – из шипящего белого пара там, где хлещут стальное полотно водяные напорные струи, вырывается он, новый Гугель, хозяин, двухметровый Угланов с изуродованным злобой лицом и с железным прутом в отведенной для удара руке, несуразный, как страус, как жираф на шоссе, очень это смешно все… и страшно.

Куренного макнули мордой в кровь его собственную, обливается ею на бегу, издыхает… «Залови его там, завали!» – помертвевшим рабочим Угланов кричит и уже сейчас их вот, рабочего рубанет по дороге за неисполнение: приварило их всех, приморозило… «Взять!» – и какие-то брызнули следом за живой добычей, атукнутые, ну охранники, кто, эти вот «полицаи» в униформе своей… и Бакуткин – начальник его многолетний, Чугуева, – разбежавшись, воткнулся в Семеныча прямо: подыхающей мордой, как рубанком оструганной, так вот все в ней открылось, каждой дышащей по рой, так вот больно в ней билась и

противилась кровь… отпихнул – и на лесенку, сцапав перила, и с помоста над станом на ту сторону ссыпался по ступенькам, как к воду, как в крещенскую прорубь, закричав от ожога, ударов, пересчитывая копчиком ребра железные, – в яму! двухэтажной, считай, глубины, там зашибся о дно и давил в себе рвущийся крик: его нет, под землей он, в могиле, не достанет его огневая рука.

Куренного поймали, завалили спиною на лесенку – главного инженера завода! – и Угланов навис над ним всей своей росломачтовой, свайной тяжестью; Куренной передергивался в животе и в паху, пол-лица ему залило липкой кровью, но проклеенный глаз разлеплялся и пучился – на Угланова, смерть; его кожа, встречая углановский взгляд, шевелилась и пухла, как от жара, от пресса, открывая сосущие поры и вздрагивая…

– Ты, сука, страховал конвертер, ты?! – Угланов вглядывался в него, как в омерзительно живучую и до конца неубиваемую падаль, как в земляного червяка, что оказался неожиданно устойчивым ко введенному им на заводе режиму. – Ты страховал его на случай ядерной войны?! Петитом, сука, очень мелким шрифтом на восемнадцатой странице, что договор вступает в силу только в случае ядерной войны?! Ремонта на два миллиарда рублей! Взял, сука, премию у «Ренессанса», взял?! Ты что, животное, ты думал, не увижу?! Что мои мощности тебе в кормление даны, чтоб ты в ломбард за две копейки их закладывал? Тебе на них посрать, которые тут горбятся, – царапнул Чугуева взглядом, – и языком мне гайку каждую вылизывают тут до мокрой чистоты… но ты мой завод кинул, ты Угланова кинул! Руку сюда его мне, руку!.. – и по тому, как смотрит, стало понятно, что не остановится.

Руку с треском рванули, большую мясистую, толстокожую, гладкую, чистую, никакой работой физической не натертую руку, придавили к ступеньке ее за запястье, как к плахе, и пусто, на какое-то дление кратчайшее глянув, примерившись, он, Угланов, ударил по мясу железом… и все вздрогнули возле, как один человек… и еще раз, еще раз, мозжа костяную, мясную ладонь. «А-а-а-а-а-ы-ы!» – закричал Куренной и кричал уже взрывами, словно отбивали его по куску; передергивались семенящие ноги и скребли каблуками добротных ботинок по бетонному полу – пропахать борозду…

Человек за работой, мясник, кочегар, Угланов запрокинул лицо в перекрытое небо, в высотную кровлю, потянул воздух ртом и ноздрями и выдохнул, как спускающий пар тепловоз, – только передохнуть, в нем завод не закончился, – отшвырнул с мерзлым звоном железку и мотнул головой своим на избитого:

– Ну-ка сделайте пугало мне из него. Зацепите за что-нибудь и поднимите над валками вот прямо, над станом. Вы стоите чего?! – рвал глазами рабочих по кругу, Чугуева… и опять на охрану свою, на опричников: – Ну и где эти все? Слишком медленно, Вова, вы все! Не терплю, когда медленно.

И все делаться быстро в цеху начинает: раскрываются в гуле беззвучно ворота и беззвучно втекает в грохочущий цех человечье стадо, под перепончатую кровлю храмовой, глотающей простором высоты, пиджачно-галстучное стадо из начальников одних, всех тех, кто ведает на комбинате распределением и закупкой газожирного и жирного угля, завозом щебня, битума, бетона, кирпича, реализацией за валюту и рубли всех сотен тысяч тонн стального урожая, всех кабинетных, кто командует там, наверху, неосязаемой, нематериальной денежной водой… и вот сюда их всех сгоняют, под плиту, во вмуровывающий гул станового потока, в разрывающий грохот, в котором и себя самого не услышать, и ничего они не понимают так же, как рабочие: для чего их сюда? И уже понимают: тут из них что-то сделают, с каждым шагом все ниже, все меньше становятся – и так, изначально в сравнении с прокатной машиной ничтожные. Семенят мелко-мелко, друг дружкой стиснутые, многоногим ползучим лакированно-туфельным гадом, морщась от осязаемого жара, обдающего лица волна за волной, и построились, сами построились вдоль грохочущей ленты проката шеренгами, словно делалось что-то хорошо им знакомое, позабытое, но остающееся по наследству в

хребтах, мозговом веществе; вмуровал в себя каждого воздух, поменявшийся, новый, изначальный, единственный воздух – абсолютная сила чугунных богов, настоящих хозяев Могутова, что хотели всегда от людей одного – существования по правде жертвоприношения. И, уничтоженные, сниженные до своего исходного размера, все как один смотрели на Угланова, который дирижировал своей опричниной с помоста над валками, как этот самый… ну, который на пирамиде самый главный… служитель культа людоедского… поднимайте, показывал, дергая обращенными к небу ладонями. И рывками над станом поднялось неправдивое что-то – все смотрели на тушу, повисшую в воздухе на продетых в подмышки железных тросах, на корову, на лошадь: сквозь все мощное тело плескали, прокачивались равномерные разнообъемные судороги, инженер, ЧЕ-ЛО-ВЕК передергивал буйно ногами, даже вывихнутой рукой с отбивной, размозженной ладонью – как не сдох и не сдохнет никак от разрыва мозга, сердца, всего?.. Метрах где-то в полутора под сокращавшимися всей остатней силой ногами проносилась, вибрировала нескончаемая лента проката – не вишневая, нет, но и после охлестки ледяной водой сохранившая восемьсот верных градусов под обманной ровной серостью: припекались подметки, враз сожжет и приварится, ну а дальше протащит, затянет в валки, нажимные винты одни только которых – тяжелее и толще, чем слоновья нога: ничего от куска не останется. И все триста – четыреста жрали эту агонию, и какой-то извечный, неподсудный, до жалости, людоедский восторг, стукнув в голову кровью, стоял в их глазах; все почуяли это – добавление стали в свой исходный состав, вот то самое, что первобытным давало ощущение бессмертия. И с Чугуевым тоже сейчас это делалось, отключилось в нем что-то, отведенное в каждом для сознания ценности единоличной человеческой жизни: он глядел на дорожку под бьющейся, навалившей в штаны, подыхающей слабостью, на поточную чистую сталь, что всегда приводила его в восхищение: вот таким должно быть выходящее из рук человека изделие всегда, только так никогда не умрет человек, выдавая изделие, что намного живучей, выносливей, чище, долговечней него самого… и в башке отсыревшей спичкой мигнула вот совсем неуместная мысль: как попортит сейчас эта жертва стальное полотно приварившимся, сплющенным мясом, соплями, что сейчас намотаются на оправку совместно с листом… и пробило его, и волною сняла с неподвижного места правда непослушания, жалости вот как будто бы не к человеку, а к собственной стали, что нельзя никому дать испортить – вот так, и со скоростью, равной биению в нем крови, понесла напролом его, к пульту… проломился, сшибая и разметывая окостеневших, и вдавил пальцем кнопку – отключить это воющее от животного страха, неуклонно ползущее все… Полотно проскользило под ногами несдохшего и прошло в чистовую грохотавшую клеть под ногами Угланова; новый огненный сляб грузно-коротко дернулся и застыл на катках, истекая подземным конвертерным жаром… и к нему, за Семенычем топот копыт: разорвут сейчас, что ли, с Куренным рядом тоже подвесят?

– Ты чего мне машину застопорил? – за спиной и над ним сказал кто-то срывающимся, но вот вроде беззлобным, прочищенным голосом. И Угланов, живой, осязаемый, тык-в-притык перед ним, работягой, что посмел сделать что-то царю поперек.

– Это ты, это ты мне машину!.. – закричал, обеспамятев, и трясло перед этой властной высшей силой, что его с испытательским интересом разглядывала, расковыривая что-то внутри него: разобрать и понять, как Чугуев устроен.

– Так для нее я это делаю сейчас, для машины, она чтоб крутила. Ты кого пожалел? Тварь, которая тебя вместе с этой машиной обворовала?

– И чего, значит, лист теперь надо человечиной мне испохабить?! Не для того эту машину люди строили, чтоб человека на ней плющить и ломать! Что нельзя вот такого – в школе не проходил?! Очень нравится, да?! Взять, как крысу, за хвост и на сляб, сквозь валки? Сила, сила ты, да?! Ну а больше тебя если сила?! Хоть и крыса, допустим, но вот все же живой человек!..

И Угланову это понравилось – то вот, первое самое, про испорченный лист: жалко целый рулон-то марать этой падалью – перехваченный немилосердной скобкой рот приоткрылся в осклабе, и дальше он, Угланов, как будто не слушал: про свое людоедство, про живых человеков… отпустил его гнев. Да и был ли он, гнев? Может, только расчет – застращать всех своих управленцев повальной лютостью неминучих расправ, задрожать их заставить и трястись над могутовской каждой священной копейкой?

– Ну а ты тут – вальцовщик? Как звать?

– Анатолий Семенович, – горделиво брыкнулся: мол, в отцы тебе, бивень, вообще-то гожусь и на мне этот стан тут держался, когда ты еще, мелочь, на горшке заседал… но сорвался вот голос и дал петуха.

– Ну, пойдем-те за мной, Анатолий Семенович…

И его потащило вот за той жердиной, хотя вроде никто не тянул, не пихал. Расступались, откатывали волнами все эти в белых рубашках и свои же рабочие в чумазых комбезах и оранжевых касках, глядя все на Чугуева странными, не узнающими, особыми глазами, то ли с завистью, то ли со страхом: его выбрал Угланов, и теперь будто должен был сделаться навсегда он, Чугуев, другим, обнесла, облекла его сила… На тросах опустили на бетонное дно все мясное, тряпичнонабитое то, что осталось от главного инженера завода – спец-то он был не самый худой, только вор, – и никто не смотрел уже больше на пластавшегося на полу и кусавшего воздух большого мужчину.

– Вот скажи мне, Анатолий Семенович, – глядя прямо в глаза, начал быстро Угланов в хорошо проводящей слова тишине, – сколько раз надо в смену валки переваливать? Вот на этом вот стане твоем?

– Эк хватил – переваливать! – Подключили Чугуева к стану, возвратили в железные, в место службы его, назначения, и страха в нем уже больше не было. – Ты мне дай их сначала, валки, чтобы было мне что переваливать. А пока их они вот, – мотнул головой на ряды управленцев, – на бумажках своих перева…

– Ну а где они, где, говори! Где валки?

– На цветмет растащили, молибденом и хромом упроченные. Катапультой через забор – и тю-тю.

– Кто это делает, я полагаю, спрашивать не надо? Кто мне в бумажках пишет, что он тут по шестнадцать! раз! в сутки! roll change! – щерясь от ненависти, пнул кровососущую, непроницаемую, гадящую сущность, одновременно вязкую, словно клей, и тяжелую, как чугун на ногах: отрубить, отключить! – Как же стан-то живой до сих пор? Как справляетесь, а?

– Да вот как-то все ручками, дедовским методом. Абразивами там, напылением тут. Голь на выдумки, долго рассказывать… вам чего уж вникать?

– Ясно. А как вы отнесетесь, Анатолий Семенович, к тому, что я вместо вот этого… – шевельнул ногой в мокрое место, – то есть второго, того… тут поставлю тебя? Начальником листопрокатного – пойдешь? Главным тут над своей машиной?

– А я и так над нею главный. Не по названию, а по существу.

– Значит, этого, – ткнул в Чугуева пальцем, – старшим мастером стана.

И почуял тот: вырос, подымает, прямит его сила, как прямила когда-то перед прежним последним настоящим царем комбината Ракитиным, когда тот при всей массе награждал его знаком ударника и пожимал ему руку с такой же привычностью, как и сотням других награжденных железных.

4

Ничего от Валерки долго не было, не было, не приходило… и пришло через шесть только месяцев первое из бакальской колонии письмо: сообщил, что живой, невредим, обитает в нормальных условиях – чисто всюду, как в амбулатории, и питание сносное, отношение начальства к заключенным хорошее, а работает он (это больше отцу сообщалось, чем бабам) на железном карьере бурильщиком: перфоратором, значит, орудует и электросверлом в тридцать пять кило весом, и вот этого вовсе Чугуев не понял: кто ж их, зэков, на строгом режиме допустил до карьера, до машин, до взрывчатки вообще? Если так-то подумать, подорвут ведь друг дружку по заводке какой или просто вот в силу безграмотности… Или что, ничего, что ли, в новой России в этом плане и не поменялось для зэков с тех времен, когда тыщами загоняли их в шахты и укладывал Гугель таких же вот каторжных в ненасытную жрущую пропасть карьера на Магнитной горе: пусть дадут только родине много руды и помрут, надорвавшись в бесплатном усилии?

А с другой стороны: пусть в работе сжигает Валерка тоску, неизбывную муку лишения всего, что дано невиновному, честному, все полегче в труде оно, это ж можно свихнуться взаперти от безделья, неподвижности времени и бесцельности жизни, проходящей впустую, бесследно.

Понимал он, Чугуев, то, о чем сын молчит и не хочет сказать: «там» живет в непрерывном ожидании удара, вот где технику безопасности надо блюсти – не с машиной, нет, а с людьми в обращении, с «черной костью», жульем. Много он за свой век повидал, Анатолий, блатных, много было в Могутове отсидевших и снова уходивших на зоны (где рудник на Урале, там и каторга, зона), на поверку трусливых, гнилых, чуть копни, и серьезных, всерьез ничего не боявшихся, с каждой ходкой все больше покрывавшихся синей чешуей наколок – вот так и человек в них был наполовину будто бы в шерсти, с одной больной невытравимой потребностью возвратить миру то, что от мира он сперва получил: били, гнули его, и теперь он в ответную должен кого-то согнуть, отыскать еще меньше, слабее себя человека и над ним покуражиться.

Вот на какие рельсы встал теперь Валерка, вот на какие рельсы его с самого начала повело, таким и был он с самого начала, уродился, что чуть задень его хоть мало-мальским принижением, хоть на полнитки провернуть его против резьбы попробуй, как полыхнет, не стерпит, дел наделает: вот наделал уже, не хотел, а убил и попал к тем, которые приохотились кровь человечью пускать. Силовой изоляции нет, каждый урка – зачищенный провод, все на этом построено, на «подмять и сожрать», «подчинить и унизить», и чего же он стерпит такое, Валерка?

Незаметным стараешься быть – не получится: обязательно высветят молчаливого ищущим взглядом, как в ночной воде рыбу горящим смольем, не сегодня, так завтра копнут, кто ты есть; молчаливым быть можно – безответным нельзя. Ну и долго он сможет, Валерка, со своим изначальным, неизменным характером-порохом на границе вот этой, на гудящей струне удержаться – меж терпением и безответностью, а? Вот ведь в чем наказание зоной – самому себе равным, собой не быть, человеком, который ничего не боится, а Валерка и должен теперь был на зоне бояться первым делом себя самого, колотушки своей, взрывника в голове, что еще раз рванет – и тогда уже точно ему будет высшая мера.

Шла машина могутовской жизни вперед, не заметив пропажи Валерки: перемены копились, копились и, рванув, покатились по заводу весенней ломовой, ледоходной водой, с равнодушной силой снимая с рабочего места сразу сотни и тысячи лишних железных – унося их в безденежье полное, в голод, в неизбежность, быть может, вообще навсегда распрощаться с заводом и сгинуть далеко от Могутова в поисках заработка; никого не жалевший Угланов

делал ровно то страшное, что обещал, что вколачивал с первого дня в их рабочие головы: увольнения будут, потому что людей слишком много, а живых мощностей слишком мало.

Это ж сколько так сгинет рабочих людей, потеряет себя, из спецов превратится просто в чернорабочих широкого профиля, не поднимется вовсе из шлака, сопьется, думал он, Анатолий, на заводе оставленный сам и возвышенный даже углановской милостью из вальцовщика в старшего мастера стана. «Людоедская логика капитализма, – золотыми зубами скрипел Егзарьян, не ржавевший в своей вере в Маркса и Ленина, – за счет нас вот, рабочего класса, сокращать все издержки. Да он всех вообще бы на улицу выкинул, если сталь бы сама, без людей выплавлялась и прокат сам собой бы на оправку наматывался». Очень было похоже на правду: никого не жалел, людожор, и не видел новых митингов и демонстраций, состоящих теперь из одних только женских людей – жен уволенных, списанных: выходили на площадь под окна могутовской мэрии и на главный могутовский мост меж заводом и левобережьем – перекрыть своей мягкой бабьей малостью ломовое, летящее движение Угланова на работу, с работы, – прозябая, простаивая на огромном жестоком, ледяном во все время, кроме лета, ветру, поднимая навстречу вороному кортежу плакаты «За сколько вы продали совесть?!», «Кто накормит детей?!», на лету нечитаемый, разметаемый ветром сопутствующий мусор, над собой воздевая, как иконы, орущих детей: посмотри и побойся!

Десять тысяч уволили, двадцать спецов, но и выше, не только в горячих цехах, а до самого верха в правлении корчевали теперь командиров – восемь из десяти головастых, пронырливых, хватких мужчин, что сидели на снабжении и сбыте и заведовали материальным богатством Могутова. Выносили всех тех, кто привычно, это самое… самозабвенно воровал у завода; беспощадно-машинная рациональность была в людоедстве Угланова, в очистительных мерах вот этих – соскрести, сбить брандспойтной водой всю ржавчину со стальных сочленений завода, чтоб ничто не мешало неуклонному ходу могутовских поршней и вращению валов, и без разницы было, что смыть эту ржавчину можно только с самими железными, вот и с теми железными, на которых самих этой ржавчины не было.

На каждой проходной, на каждом переезде появились плечистые тяжелые ребята, пугающе и раздражающе нерусские в американской своей черной униформе, в перчатках, проводах, в антеннах, с автоматами! Первое время только «фрицами» и звали: на проходных прохлопывали каждого, словно не черный лом по килограмму работяги, а золотой песок с завода выносили. Мели метлой новою по-новому, с овчарками цепными, алабаями, вот эти караулы-патрули, и через пять примерно месяцев от воцарения Угланова весь комбинат был наглухо запаян в этом плане изнутри, так что и полкило железной стружки теперь было в карманах вынести нельзя – ноги не шли, придавливало знание о климатическом явлении «расправа». Да и не только одной лютостью держал их всех, железных, новый царь и бог: не страх лишиться места и куска прожиточного хлеба, не стимул небывало жирной премии за качество проката и превышение нормы выплавки принес им на завод Угланов, а что-то большее, затрагивающее сущность сталевара – невесть откуда бравшееся в каждом ощущение своей силы, вот это многими забытое, а многим и вообще с рождения неведомое чувство: что твоя жизненная сила напрямую проявляется в ровном дыхании умного машинного железа – очень долго томилась в тебе безо всякой надежды на выход и теперь вот рванулась законным, естественным руслом, переходя в плавильный жар и безустанное прокатное усилие валков. Перестали железные киснуть в разъедавшем растворе апатии и знания о неизменности жизни, которая как текла, так и движется по направлению к истощению и смерти, никак не отзывая на твое старание развернуть ее в обратном направлении. И это было, было, не казалось, не одному ему, Чугуеву, казалось – вошло, входило, пусть и медленно, в плоть самых нерадивых: разгоняй и форсируй машину своим существом, чтобы не оторвали тебя от нее, чтобы не изрыгнула тебя она вон.

Материальный стимул – да, куда уж без него? И он, Чугуев, лично не согласен вечно работать за одни тычки и вытолчки, но вот сейчас, когда оклады не росли и не могли, конечно, вырасти так быстро, всем им, железным, сообщилось от Угланова, что деньги все, какие есть у комбината на сегодня, уходят не на сторону куда-то и не в личную углановскую пасть, а непосредственно на орошение кладбищенских и аварийных, подыхающих цехов, – а иначе откуда было взяться сияющим чистой сталью, отшлифованной бронзой, никелем, хромом, настоящим, живым, осязаемым новым деталям машин? Их пока было мало, но они уже были – станины и приводы, нажимные винты и летучие ножницы, только что извлеченные будто из огромных скорлуп-кокилей, приводившие в трепет валки – много больше него самого вот, Чугуева, по размеру и силе стальные младенцы, неправдивой тяжестью принимаемые на руки из покрашенных в яркие, как на детских площадках, цвета герметичных вагонов-контейнеров.

Продырявленный горем отнятия Валерки, он, Чугуев, ловил себя то и дело на том, что какой-то вечной частицей в себе с недозволенной больше ему хищной радостью примечает повсюду эти первые искры и стальные ростки поворота, очищения, пере устройства; стал он нужным опять, настоящим, Чугуев, вот опять чуял радость отдачи и законченной трудной работы, выражения себя, воплощения в стальном полотне, что не сломится и не сотрется раньше, чем человек, – это было как радость и счастье возвращения первой любви, способности делать детей с молодой, начальной силой, и от этого только острей защемляли сердце жалость и боль – что Валерка, Валерка не дожил, просто не дотерпел, гад такой, до вот этой минуты, до начала подъема завода из мерзости запустения и старческой немощи. Оступился так глупо – в мокруху, а ведь мог бы сейчас тоже жить в этом ритме подъема и роста, вместе с целым завода набираясь железных и огненных сил, – пусть и медленно, но неуклонно, по копейке сварить свою частную честную жизнь… Эх, Валерка, Валерка, как же так перемкнуло тебя, как же я не успел, не сорвал в тебе этот стоп-кран?

Возвращался со смены домой – в округленный и звонкий живот онемелой снохи, и опять был жестокий скрут боли и радости. Сноха его сидела у окна, придавленная тяжестью наполненного пуза, – с таким неподвижным, пристывшим лицом, что сердце, казалось, не бьется над плодом; Чугуев со страхом приглядывался к ней и видел, как это пустое лицо заливается простым и несказанным тихим светом подчиненности растущему в ней существу: дыхание Валеркиного будущего, дыхание плода, носимого под сердцем, свободно, как вода, как масло сквозь бумагу, проступало в Натахином лице, и с облегчающей, необманывающей ясностью он чуял, что все она, Натаха, исполнит, как сказала, все, что по обещала Валерке на суде, поклявшись ему выносить и выкормить их плод – для него, от него… для самой себя тоже, конечно, но ведь и для него: чтобы знал – не конец. Пусть вот он и мокрушник, но еще не конец. Есть куда выходить ему из-за колючки, для чего все терпеть, для чего человека в себе сохранять, с той же силой терпения, что и она – его сына в своем округлявшемся чреве.

II. Стальной автократор

Могутов – 5000

1

Монстра должны были пускать уже сегодня. Сегодня он предъявит миру своего новорожденного сталепрокатного циклопа, ребенка колоссальных сил, любимого с щемящей нежностью и страхом, в возможность ни зачать, ни выносить которого не верил никто ни в России, ни в мире, и многие сильные делали все, чтоб задавить его, углановское, детище еще в первооснове.

И вот теперь раздастся лютый свет, ворота нового отдельного металлургического города раздвинутся, и под бетонными незыблемыми сводами он потечет протяжно, нескончаемо, изначальной Волгой катков-исполинов и валков-мастодонтов, могущих проломить до земли сталагмиты в Дубае и Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, – с самым мощным на этой планете прокатным усилием в двенадцать тысяч тонн на каждый миллиметр стального полотна, с непогрешимой системой прерванной закалки и ледяными гейзерами управляемого охлаждения, с несметью нервных, скрученных в косицы ответвлений, пронизывающих стальные мышцы и суставы организма, с 55 командными компьютерными головами, с золотой, палладиевой, кремниевой и графеновой микровселенной существующих только на скорости света безмассовых квантов, с электронной средой, проводящей твою волю до каждого привода, с машинами раскройки и обрезки, с плывущими над головой в гулкой вышине магнитными захватами, которые снимают проклейменный лист с рольганга, с обширными полями холодильников, равнинами инспекторских столов, с контрольной установкой ультразвука, просвечивающей готовый лист насквозь, с туннелями обжарочных печей, пройдя через которые сталь начинает жить отлично прокаленным веществом со сроком службы, близким к человеческому представлению о вечности.

И распирала его сила: проломился, ПЕРВЫМ, за смехотворные 34 месяца войны построил на своем заводе он машину, какую не смогла построить вся система, империя СССР и в новой России не смог в одиночку осилить никто: Гусманов со своим «Металл-Инвестом» в Выксе, Верхозин со своим «Теургом» на Ижоре…

Что это было – стан 5000? Великий индийский поход в Новый Свет? Причаливший корабль, земля обетованная и дарование небесной манны навсегда? Нет, все это слабо, не передает. «Короткий шов». Чтобы сварить трубу, через которую может пройти двуногий в полный рост, необходим короткий шов. Тогда она не лопнет. Труба для «Роснефти», труба для «Газпрома». Балтийский поток, Голубой. Божественный ВСТО. Десятки тысяч километров стальных кишок, протянутых по тундре и тайге, по вечной мерзлоте, по дну Каспийского и Баренцева морей. А кроме труб, крупнотоннажные суда: ледоколы и авианосцы, сухогрузы и танкеры. Мосты исполинских и просто очень крупных размеров.

Такой нужен был стан – просто очень большой. И все то, во что он заключен и с чем связан, без чего обходиться не может: без ремонтных цехов и железных дорог, без комплектной системы обращения крови. 375 миллионов в котлованную бездну. Это первой лопатой, а потом – как пойдет. Город в городе, новый отдельный завод был у немцев, японцев, у американцев, запустивших свои «пятитысячники», когда мы запускали Гагарина в космос. У русских его не было – и русским нужен был только один, хватило б одного, способного давать до десяти миллионов тонн проката ежегодно. И впряглись в эту стройку, в эту гонку ползком

– бурлаками, кометами – пять мастодонтов русской металлургии, от «Русстали» Угланова до «Теурга» Верхозина: из-под ногтей полезли когти, изо ртов – клыки. «В живых должен остаться только один!» – с раздирающим воплем вбегал к нему Ленька из своей войны рыцарей, воскресающих в новых столетиях и странах и умирающих, только когда наточенной железкой отхватишь голову от целого.

У Демида отгрызенная голова вырастала опять и опять, у Равиля, у Лешки Могильного. Он, Угланов, залез в паровоз раньше всех и пять лет полз по этим вот рельсам – с перелетами через Европу, Атлантику, пробивая кредитные линии в Goldman Sax, Standard Chartered, Credit Lyonnais… выжимая лишь капли из скрученных в жгут пересушенных скепсисом и еврейской иронией банкирских мозгов, подписав два подвешенно-виселечных и подпиленноногих контракта с немецкими Siemens и Demag Cranes & Components на поставку всей умной автоматики стана, тепловых генераторов, пневмонасосов, низковольтных устройств коммутации…

Заводская машина, загрузив батареи и домны на полную, на пределе форсажа работала только на затеянный стан, а еще обеспечивала половину областного бюджета, отчисляла в бюджет федеральный всего до хера, и углановский ум изощрялся в новых головоломных, извилистых схемах «налоговой оптимизации» прибыли из-под гребущей федеральной руки; становой хребет рос позвонок за стальным позвонком – к декабрю прорывало магистральные трубы в Могутове, из земли били дымные гейзеры, и крутой кипяток настывал ледяными пластами на заснеженных улицах, сквозняки били в щели шириной со стены, замерзали больницы и школы, деньги падали в руки железных только редкими каплями, тая на раскаленных ладонях, как на сковородках: инфляция, и он к ним выходил с заклинанием-рефреном: строим стан на пять метров – себе, своим детям и внукам, Уралу, всем русским… оплачу вам потом, закормлю заработанным верой и правдой, мозолями, только пустим и выйдем на проектную мощность сперва, – и считал, сколько он еще месяцев сможет опираться на это молчание железных.

Может, и не пришлось бы затягивать так пояса, если б с низкого старта, чуть не в самое мгновение отрыва его не окликнули, молча не показали: забудь про 5000, сюда вот кто заходит – ОМК, по соседству с тобой присевшие питерские федералы с такой кремлевской покрышкой, что лопатой к земле нагибают любого… Они везде теперь садились, эти питерские, – еще вчера лишенные в глазах Угланова всех свойств, кроме прозрачности, заместители глав насекоморазмерных префектур и управ и подполковники запаса ФСБ взлетали с первой космической в Полпреды и заместители руководителя Администрации Президента и рыбоящерам углановского класса, происхождения, истории эволюции умели непривычно жестко выговаривать: «тут» вашего нет ничего, все ваше «тут» отдано нам.

Позвонил ему Зюзин, под этих федералов пошедший: есть разговор, подтягивайся в «Царскую охоту». Из подкатившей черной туши «Ауди А8» с синей мигалкой-прыщом и цифрами дарованной неуязвимости под радиаторной решеткой выбрались «они»: сам Витя Зюзин и «вот этот», неоспоримый отблеск Президента на земле, из тех, что тянут головы из третьего-четвертого рядов в ежевечерних репортажах о посещении Президентом образцовых животноводческих хозяйств и всенощных на Пасху – и я тут, и я, и меня опалило снизошедшим огнем «самого»… Пару раз где-то виданный им, Углановым, мусор, пыль ковровой дорожки Ленсовета и питерской мэрии… Бесстужий или как его там?.. Сухопарый такой, с неприязненной и безрадостной мордой язвенника. И, прогнав официанта за водой без газа: прекращай это дело, Артем Леонидыч, ты же все всегда очень хорошо понимал, потому и сидишь до сих пор на всем том, что загреб в 90-х, сделай жест доброй воли, чтобы ровные были у нас отношения. Все равно уже увязнешь со своим этим станом и вторым приползешь, это я уж тебе обещаю.

Он всегда упирался, когда кто-то ему говорил: будешь делать, что мы тебе скажем; не везде, не всегда ты хозяин, посмотри – над тобой не одно только небо. И уперся сейчас: хрен ты в сраку получишь, а не русский стан номер один. Покачал сокрушенно Бесстужий башкой: еще один сгорает на работе – достал свой «Вертю» на-…-как-хочу и показал, как быстро у него отыскиваются кнопки.

В Могутовский завод вклещились все: Генеральная прокуратура, сенаторы, депутаты «Единой России» и КПРФ (немедленно остановить хищение русской стали и ограбление трудового человека!), ФНС и УБЭП, Федеральная антимонопольная служба, Высший суд арбитражный, многодетные матери, вдовы, разведенки с ходатайствами в суд какой-нибудь Южной Осетии о наложении ареста на все сорок миллиардов акций компании «Руссталь», Росприроднадзор, вертолетные подразделения «Гринписа»: губишь чистые реки, Угланов, отравляешь детей, разрушаешь, чтоб строить, и строишь, чтоб разрушить у нас окончательно все, покажи, где у вас тут установлены воздухоочистные системы XXI века, ради будущих где поколений, ради жизни самой! Но вот самое страшное – отключили всех смежников: на юге, на востоке защелкали рубильники и заскрипели вентили монополистов, отсекая завод от Единой Энергосистемы, от воды, от всего; отделения Российских железных дорог световыми столетиями не замечали на своих сортировочных станциях все ползущие с севера, с юга, с востока и пристывшие к рельсам составы с углем и рудой для Могутова – на завод опустили свинцовый колпак, временами постукивая: ну ты как там, не хочешь все еще по-нормальному? вообще жить не хочешь? Ну давай – доходи.

Но они его просто не знали. Знали, что рычаги у него, что «свои» – в федеральных министрах и советниках по экономике, в самом верхнем отделе кремлевского неба, но не знали другого: у него была сталь и он знал, что из стали всегда, изначально главным образом делали русские. Танки и самолеты. Броню. Он над этой броней когда-то в Институте проблем безопасности и колдовал, и когда в эру гласности и распродажи стального, броневого «всего» закричали: конверсия, переплавить все танки и подвод ные лодки в скороварки и сковороды, понимал он уже, что начнется обратный процесс: скороварок не надо, нужны русским новые танки и подводные лодки – из упрямой потребности русских в величии, в оправдании мощью на планете и в космосе своего неустройства «внутри»: пусть в лаптях мы, но вмазать кулаком по планете можем страшно – всегда. Он и сам хотел вмазать и залить мир промышленной, «мирной» русской сталью. Взял еще в 94-м на баланс НПО «Щит-Антей»: танки Т-90, прицепы, стволы, тепловые головки (ну как тут без Фрейда?), матерые академики Зацепин и Рассадин, не устающие выращивать в мозгу рецепты и системы защиты и убийства, аналогов которым не будет еще лет пятнадцать – двадцать.

По разветвляющимся кабелям, корням правительственной связи, задействовав свои высокоскоростные подключения в системе «Белый дом – Старая площадь – Архангельское – Ново-Огарево», подкопами, измором дотянулся до зама Председателя Правительства Яшметова, ответственного перед родиной за производство новых комплексов фронтовой авиации и атомоходов, и вот уже на дымном полигоне перед глазами зазванного в гости человека государева завораживающе мощно, неправдиво-изящно вальсировали два могутовских опытных танка не дающейся определению, опознанию новой породы – с ровным остервенением лили ручьи хищных траков, расходились, сходились, выписывали циркульно чистые эллипсы на расстоянии волоска от зрячего, расчисленного бешенства друг друга, попадали в воронку, вращались, будто закручивая огромную невидимую гайку; разгонялись до крейсерской скорости, тяжким плугом пропахивая земляную пустыню увал за увалом, взлетая на валы и пролетая надо рвами, возносясь к небу пушкой и рушась всеми тоннами траков, брони, экипажей в закипевшую муть рукотворных болот – броненосцем, рептилией выползая на сушу и на полном ходу, на ухабах выплевывая из стволов подступившую краткую судорогу, разнося попаданием условную цель на ошметья.

А Угланов вколачивал припаявшемуся к окулярам Яшметову: даже землетрясение восемь баллов – без разницы, цель в прицеле у нас остается всегда, алгоритм наведения такой, дальномер мы поставили исключительный лазерный, все считается автоматически с недоступной американцам космической скоростью, испытайте броню, это наша броня, держит все.

– И чего хочешь ты? – И в пожаре, влечении к завораживающей танковой силе сохранилась брезгливость к воровавшему русские недра Угланову, видовое упрямое предубеждение, но уже осязаемо, зримо подтопленное.

– А чего хотел Крупп, когда делал свои бронеплиты для вермахта?

– Ты б полегче с такими сравнениями.

– Ну так я тебе смысл. Я хочу оборонный заказ. Закрепить отношения. То, что я показал, – это только зачаток колоссальных возможностей роста. Стан «пять тысяч» построю – это будут подлодки и авианосцы. Все, что мне нужно для того, чтобы поставить вот такую броню на поток, – это скидка всего на две вещи: электричество и перевозки. Ну какая вот разница, кто богатеет, если вместе со мной сильнее становится, ты же сам понимаешь, страна.

Технология сборки изделия простейшая: создается еще один холдинг с участием госкапитала, назовем его, скажем, «Оборонмашресурс», и у этого холдинга 75-процентный(!) дисконт от всех естественных монополистов, для «Русстали» – разрыв электрической и железнодорожной блокады окончательно и навсегда.

Два с половиной месяца ждал от правительства ответа по своему сталепрокатному всему, и ночью, американской небоскребной пылающей ночью в пустынном сьюте «Мариотта» прозвенел сигнал телефонного вызова в Кремль: поднимали их всех, крупный бизнес стальной, алюминиевый, и взлетели «гольфстримы» и «боинги» над огоньками, золотой лягушачьей икрой мегаполисов, и Угланов вступил в самый чистый, по исследованиям авторитетных экологов, воздух в стране – сконцентрированный в кубе, в невидимо очерченном пространстве Ново-Огарева; в этом режущем воздухе, словно снимающем с каждого старый кожный покров, все у всех стало новым: позвоночник, глаза, «как идет человек»… Заходили когда-то сюда, великаны, игроки высшей лиги, свободно… А теперь ненадежно, нетвердо рассаживались за овальным столом, согласуясь с именными табличками, и не спрятать, как бьется под прозрачной кожей тревожная кровь, как вспухают в мозгу подозрения-догадки, что «он» мне приготовил, что решил про меня, и как плавятся в черепе предохранители «я же с властью не бился, всерьез не грубил». И явление им «самого» – с чуть утиной верхней мягкой губой, даже с лопнувшим, видимо от недосыпа, сосудцем в глазу, но другого, другого при всей простоте, несомненной обычной телесной природе позвоночного млекопитающего – куска огненной плоти, источника окончательной силы и правды всех русских. И не важно, что эта абсолютная сила – не сам он, средних лет, с несуразным лицом человек, а ему ее дали… И с тронного места, из единственной точки пространства защелкал, зазвенел его голос – часовым механизмом, машинкой раздачи всех наград и смертей… И дошел до Угланова: познакомился я с предложением вашим, Артем Леонидович, кто не знает, по запуску броневого листа, и оно показалось нам очень привлекательным и перспективным… – подкатывали слова, поднявшейся водой снимая Угланова с блокадного сидения, – все развернулось и направилось туда, куда хотел и разворачивал Угланов.

И еще даже больше, чем Угланов хотел: с каким-то жадно-уважительным вниманием к его, углановскому, личному кроветворению президент спросил: «А какие еще на сегодня у вашей компании проблемы? Что у вас там по стану „пять тысяч“?» И Угланов почуял: может бесповоротно он сейчас продавить свою правду. И – хотя что-то тронуло стужей череп: не проси, всех озлобишь, слишком многие в «системе» пойдут на снижение своих аппетитов и тебе не простят – засадил до упора стамеску в приоткрытую щель: не дают мне построить «пять тысяч», защемили и душат, ОМК – своим властным ресурсом.

Президент (перестав вдруг мигать и нажав на Артема глазами, привыкшими повсеместно встречать пустоту, когда давит на кого-нибудь он, и слегка удивленными, что Угланов исчез не мгновенно, не весь):

– А быть может, вы просто не привыкли к открытой конкурентной борьбе? Все никак не отвыкнете от залоговых аукционов?

Он, Угланов (уперто):

– В конкурентной борьбе я давно б уже наглухо всех участников заперцовал, извините.

Президент:

– Выражения у вас интересные – «заперцовал».

Угланов:

– Так было у кого учиться. Вот стране нужно что? Нужно, чтобы страна перестала закупать лист для труб у китайцев и немцев, заместить этот импорт чем скорее, тем лучше. Чтобы стан был построен, и не важно совсем, кем он будет построен, ОМК ли, Углановым, – важно только, какого он качества, да? Вот давайте сравним две компании по результатам и по прямым потерям для бюджета, коль скоро в капитале ОМК участвует государство. Себестоимость тонны самая низкая в Европе, одна из самых низких в мире – у кого? Мне ведь в отличие от ОМК, которая с госзакупок кормится, необходимы качество и демпинг, чтоб удержаться на всех рынках от Норвегии до Малайзии. Второе: в Могутове накоплен опыт просто исключительный по части холодного проката, там за мной двадцать тысяч отборных спецов, мы сохранили старое, мы вырастили новое поколение, и любого из них хоть сегодня можно к стану «пять тысяч» поставить, в Германии, в Канаде, где угодно – хоть вырви им глаза, найдут все моментально одной безошибочной ощупью, одними только зрячими руками. А что у ОМК есть на сегодня? Литейщики фасонного литья, которые работают по инструкциям 1935 года? Я понимаю, как вы заняты все время, но я вас приглашаю на завод. Посмотреть, как работают люди, что мы можем уже на сегодня. – В эти ровно-стальные глаза, под залысины круто-высокого, с нитяными морщинками, лба, напряженного словно в непрерывном усилии понять, как лучше будет сделать для страны – без личного и видового предубеждения к кому-то и прочего мешающего делу человеческого мусора. – И я, заметьте, ни копейки из бюджета не прошу и стан могу построить ровно за три года.

Все, дальше было нечего и некуда вворачивать, и президент с внезапной цепкостью, готовностью вчитаться в прибыльную схему:

– С собой у вас все данные по этому вопросу? Давайте сюда. – И получив, накрыв ладонью, освятив доставленную по столешнице углановскую папку: – Вы как будто заранее знали и мне это специально сейчас принесли.

Угланов:

– А это мое личное евангелие. Всегда ношу с собой.

Президент:

– Так, значит, за три года? За слова отвечаете?

Угланов:

– Абсолютно. Тридцать четыре месяца – наш срок.

Президент (предлагая присутствующим посмеяться нешутке):

– Приглашаете в гости к себе на открытие?

Угланов:

– Будем ждать вас в Могутове. Право запуска вам.

И оторвался от земли и уходил на огненных столпах под президентское: «Стройте свой стан совершенно спокойно. Только не думайте, что это означает, что у нас к вам вообще теперь больше не возникнет вопросов».

…Не мог уснуть от расширения собственного бытия, так распирала его сила и планету переполняло неисполненное. Он думал о рынках Европы: автомобильный лист «Русстали»,

идущий на конвейеры «Фольксвагена», «Рено» и «БМВ»; смешили «Миттал Стил» и «Арселор» – скоро другой сталелитейный великан подымется над миром и вышибет всем зубы русским кулаком.

И думал: он есть, теперь он действительно есть, а когда-то, с рождения загибался от страха не существовать, зачисленный в живые по ошибке, любовью двух уже не существующих, ни разу им не виденных людей, слишком легкий и слишком случайный, чтобы в нем осязаемо нуждался хоть кто-то.

2

Вот это у него обострено, вот это у него в первооснове. Еще был двухклеточным только мальком – и уже, изначально, с предопределенностью: ничего своего, никого из своих, сразу нет и не будет всесильных берегущих и греющих рук, единственного взгляда, сердца, которому ты важен, как никто, а каждый человек ведь должен обязательно быть нужным кому-то, как никто. Трудно смириться с тем, что за тобой, таким единственным, никто по-матерински не следит, передавая тебе все свое тепло, что никому не больно за тебя и никому тебя не жалко.

Он «не хотел» рождаться. По медицинской карте, раскопанной в подвале верхнеуральского роддома поисковой командой четверть века спустя, мать измочалила нутро и обескровела родовыми потугами непоправимо – маме делали кесарево, занесли в кровь какую-то абракадабру латиницей, не заметили сразу гноеродную мелочь в сокровенной ее женской тьме. Когда был вырезан из чрева, когда увесистый шлепок по сморщенной и красной маленькой спине прочистил ему легкие, отец его уже лежал в могиле. Мать не могла его, Угланова, коснуться, только смотрела на него через стекло в специализированной по инфекциям могутовской больнице и вязала из солнечной шерсти пинетки для Темочки: «пусть он желтеньким будет у нее, как цыпленок» – донесла, дожила передать медсестра.

Человек себя помнит с уверенностью только после пяти – и поэтому сразу: черноострожский детский дом совсем неподалеку от Могутова, от завода-циклопа, чудовища, вид на который изначально был ему открыт: ступы теплоцентрали и дымящие трубы от левого края до правого – там живут великаны, выдыхают огонь, там, за краем земли, по ночам всходит алое зарево – откровение, видение нечеловеческой силы, и мгновениями чуялось страшно: вот оттуда придут за ним и заберут, бросят в топку, сожгут, чтоб исправить ошибку его появления на свет, он смотрел на бетонные стены и трубы, на железных болванов и каменных баб и не знал тогда, что это промысел; завод – вот что увидел самым первым в жизни он, вот что ему запомнилось как первое, как то, что, показавшись один раз, уже не могло ослабеть и забыться.

Был один общий дом и житье под приглядом существ-воспитателей (женские люди в накрахмаленных халатах назывались «воспитатели»), с коллективными играми в «ручеек», «вышибалу», с принудительным и добровольным питанием: манной кашей, овсяной, рисовой (искусно вырезанный ложкой заиндевелый белый шарик сливочного масла, пожелтев, оплывает, растекается лужицей по мокрым манным барханам, по горячей молочной медузе), рассольником с перловой крупой, картофельным пюре, похожими на поросячьи уши серыми кусками отварной колбасы, морковной, творожной, вермишелевой запеканкой, рыжей, словно покрытой ржавчиной, жареной рыбой, морщинистыми яблоками, грушами, арбузами, какао, кипяченым молоком с противной сборящей пленкой на поверхности, компотом из дегтярных сухофруктов, оладьями с яблочным джемом на праздник… До сытого рыжка закармливала родина, усыновившая их всех: растекались тепло и довольство по казенным кроватям, доходили до каждого с одинаковой плотностью. В раздевалке за каждым закреплен личный шкафчик с потешной наклейкой на дверце, чтобы никто не перепу-

тал свой с чужим – веселый гусь, умильный медвежонок, задиристый бобер в боксерской стойке и перчатках. У каждого в шкафу: подбитое ватином толстое пальто с тяжелым меховым загривком-капюшоном, негнущиеся валенки с заботливо прошитыми цветною ниткою для различения на «левый – правый» голенищами, гладко-блестящие калоши с розовым нутром, шерстяные рейтузы, рыжеватые, серые, желтые, в рубчик, колготки, фланелевые платья с утятами для девочек и рубашки со знаками дорожного движения для мальчиков, – всем им было, сиротам, отмерено, роздано поровну.

Да, тепло и довольство, радость закладки первых кирпичей: алфавита и счета, названий вещей, своевременных даже ответов на «зачем?», «почему?» и «откуда?» – но уже было в каждом, как нечистая кровь, сообщенное по пуповине это знание, чувство, что ты обворован. Невозможно смириться с тем, что тебя однажды не станет навсегда, с тем, что все умирают и главное – ты, но как вместить то, что тебя не нужно было с самого начала, не должно было быть никогда и ты есть потому, что тебя просто недодушили в утробе. «Мы живем в самой светлой, счастливой стране», «добрый дедушка Ленин», ото всех окружающих женских людей пахнет сдобой, парным молоком, а из ласковых, нежных щенков, так похожих на обыкновенных человечьих детенышей, с сорняковым упрямством вырастает зверье, пополнение колонии для малолетних, ничего из них не вырастает, из допившихся и захлебнувшихся собственной рвотой, из несомых помоечным ветром по жизни забракованных, меченых клеток… «Если мама меня не хотела, то и сам я не буду». «Не могу». «Не умею». Когда тебе с рождения отводят подаяние: мы дадим тебе все, что сочтем дать возможным, мы скажем, где и как тебе жить, – то ничего уже не можешь сделать сам. Все подаяние: от койки до посуды, а с человеком, у которого нет ни на рубль своего, никто не думает считаться никогда. Так равно в них, черноострожских пацанах, проснувшаяся тяга к присвоению вещей была не просто детской естественной потребностью провести борозду, круговую границу, за которой кончаешься ты и начинаются другие, остальные, – обратной стороной несмирения, ненависти к миру, в котором для тебя не предусмотрено неповторимых собственных вещей.

Чем становился он настойчивей в потугах разгадать загадку своего происхождения («где я был, когда тут меня не было?»), тем сильнее входило в него порабощающее чувство странности существования как такового. Его слабый зачаточный ум простывал, уничтоженный сразу бессилием постичь даже такую малость, как причина его лично, Артема, появления на свет (вот почему есть дети, у которых персональная единственная мама, и почему его, Угланова, никто не ждал и не хотел?), мир вокруг становился ледяным пробирающим ветром и сам он – слишком легким, уже не могущим устоять на земле. В отчаянную минуту ломового ветряного натиска жизнь начинала вдруг просматриваться глубже самого его рождения: он будто вновь выдерживал те перегрузки, которые претерпел за миллионы лет отсюда, в материнском животе; то, что передалось при родах – страх и боль, – замещало ему весь состав; вот это чувство, что не должен был рождаться, что слишком многим за его рождение заплачено, уничтожало, разносило его по ветру.

Он помнит: все такие же по участи, как он, детские маленькие люди неизлечимо, откровенно или затаенно ждали маму, не умея высказать того огромного по силе, что пока не потухло и теплилось непрерывным немым говорением в глазах. При появлении у калитки незнакомой женщины у всех половодьем в глазах разливалось: «Вдруг мама?» Когда Ваня Захарченко объявил ему лично, что его, Вани, мама отдала его, Ваню, сюда, «в детский сад», лишь на время и что скоро вернется за ним, чтоб забрать, – он не смог эту правду и неправду вместить, он сказал, закричал: «Ты тупой баран, Ваня! Никто! Никогда! За тобой! Не придет! Потому что твои родители умерли! А живые родители никогда никуда бы не стали тебя отдавать! Если бы твоя мама могла за тобой прийти, то тогда бы давно за тобой пришла!» У Вани задрожали губы, плечи, он побежал в мир детской справедливости, потребовать, чтобы взрослые люди сказали: у него мама есть, чтоб его возвратили в прежнюю жизнь, что-то

сделалось непоправимое с ним – и с Углановым тоже. И воспитательница Зоя Вячеславовна прикусила язык, потеряла глаза и смогла из себя выжать только: да, есть такие дети, у которых родители на самом деле просто… оступились, не захотели сами воспитать своих детей, но это не про маму Вани, мама Вани его не бросала, просто есть обстоятельства жизни, по которым она не могла позаботиться о его воспитании сама, могут просто родители тяжело заболеть, оказаться надолго от своих сыновей далеко, на выполнении секретного военного задания, на Крайнем Севере, в подлодке под арктическими льдами… Но мы живем в прекрасной, самой лучшей на свете советской стране, наш народ не допустит, чтоб кто-то из таких, потерявших маму с папой детей оставался голодным, раздетым, не согретым заботой и лаской. Вас всех усыновила Родина!.. – со стыдом из себя выжимала, цедила, молотила по книжке-пособию для воспитателей специализированных дошкольных учреждений и понимала: ничего не может объяснить, залечить вот у этих двух сломанных детских людей, вот у этого хмурого долговязого мальчика с карими овчарочьи-щенячьими глазами: он уже понял, все иначе, чем написано во всех известных руководствах по подражанию родительской любви.

Он помнит: «Здравствуй, школа!», огромная надмировая сила, которая должна была решить, какой он, зачем он, к чему он пригоден, как будто избрала для проведения своей воли молодую, но серолицую, сухую, близорукую учительницу Анну Алексеевну, трудовика Уварова и физкультурницу Грозу. И мало сказать: «он старался» – он вкладывался всем своим зачаточным умишком в таблицу умножения и действия с дробями, остругивая и обтесывая заготовочные чурки и бруски, – чтобы его однажды не признали слабоумным и не наметили на отбраковку, сброс в какую-то совсем уж зарешеченную «школу дураков». С лицом, в котором начисто отсутствовали мышцы, производящие улыбку, Анна Алексеевна позволила ему, Угланову, дышать, единственное – морщилась брезгливо при виде потекшего стержня, замаранных синей пастой ладоней: трешь, трешь о брюки синей школьной формы, пламенея ушами от позора неряшества и достигая только больших обширности и едкости чернильных поражений. Но зато как-то очень уж быстро, всех быстрее спускал по доске меловыми отметинами к острию «х =….», опрокинутых всех пирамид с неизвестными, как-то очень уж быстро их строил, и по-зимнему трогало что-то затылок, когда новая, математичка, одышливо-грузная и носато-чернявая Марья Сергеевна вставала над душой и вчитывалась в бег раскаленного кратким мыслительным приступом стержня… и однажды, не вытерпев, привалилась, затиснула его мелкую голову меж своих низко стекших к горячему пузу огромных грудей и, поглаживая жесткую шерстку его, приговаривала вот с такой интонацией, словно ей теперь точно придется его для чего-то кому-то отдать: «Головенка-то варит, а ведь варит у нас головенка».

Поляризация «кто умный, кто дурак» за пределами школьной тюрьмы «не считалась», не на ней все выстраивалось в их детдомовской жизни. Воспитанников разделяли сила и голая, бесповоротная готовность вложить эту силу в удар, простейшее из человеческих умений – умение без жалости ударить человека. Иерархия по старшинству, возрастным габаритам, размерам больших кулаков. Повсеместный закон вымещения: кого больше всех мучают по малолетству, тот больше всех и зверствует потом. «Старшаки» называют себя «паханами», «буграми» и ночами проводят над всеми, кто меньше их самих, экзекуции: накрывают тебя с головой одеялом, и ты должен угадывать, кто ударил тебя кулаком по башке или в пузо (называется «хитрый сосед»), заставляют тебя снять штаны и лупцуют туго скрученной из полотенца тяжелой мокрой «морковкой»: зад горит, словно хлещет по нему кипяток и слезает вся кожа.

Он помнит. Тот день, когда впервые увидел льющийся расплавленный металл. Не тот настоящий прозрачный и алый железный поток, не то подчиненное только десятку людей половодье, дыхание, магму чугунного Солнца, которое им, пацанам, показали, пригнав на

экскурсию прямо к могутовским топкам, а просто – на костровом пламени расплавленный в заржавленной банке свинец: дрожит, выливается и застывает по форме вдавленного в глинистую землю кулака. Они сидят на пустыре, взгляд его приварился к дрожащему зеркальцу: вот каление белое это открылось ему, как какое-то высшее, просветленное, чистое состояние вскрытого человеческой волей куска вещества. То, что творилось на границах разновеликих плотностей и разносильных прочностей, сопровождалось производством небывалого, магнитящего смысла: способность выжать огненную воду из куска, который не сомнешь руками, – растворить эту твердость, разрушить бесформенность, переплавить во все, что захочешь, возвратить веществу изначальную и придать ему большую прочность, взять ее, эту новую вещь в свои руки, не обжегшись и не приварившись, – вот что должен уметь и иметь человек, вот каким должен быть он всегда. Подчиняющим собственной силе железо и сам, как железо, выносящим огонь. Сопротивляемость явилась ему высшим достоинством любого железного устройства и живого существа, действительной ценой каждого лица, и надо было научиться у железа именно вот этому – никогда не ломаться, у огня – своей собственной температурой прожигать и распаивать внешний неподатливый мир.

Этот день весь пропитан нестерпимой, как нашатырь, достоверностью. Скачет рыжее пламя, царапая огненной пылью темно-синюю тьму, и из этих чернил появляется Витя Курбан, высоченный, плечистый, садится, вынимает из пальцев Камбалы сигарету и обводит всех выпуклым, опустело-невидящим, подмороженным взглядом – все знают эту Витину тяжелую задумчивость с похожей на кривую трещину в расколотой доске, незаживающей ухмылкой, и внезапные волны его дикой злобы, и отстраненность странную от результатов собственного зла.

– Вот ты! Иди сюда! – подзывает он Ваню Захарченко, самого крупного и как бы сильного из всех, начинает с него: если этот нагнется, то тогда и другие, поменьше, построятся в очередь.

Ваня – круглоголовый здоровяк с кулаками, но встает и подходит с тоской и покорностью в каждой клеточке крупного, плотного тела.

– Ближе! Нагнись! Нагнись, Харчок! Убью!

И Ваня нагибается и уйкает, схватив заклокотавший нос обеими руками.

– Вот ты!.. – подзывал всех по очереди, и каждый получал в скулу или под челюсть кулаком, откидываясь соломеннонабитым телом или складно валясь на колени, и Угланов почувствовал общность состава со всеми, себя – накачанной горячей водою половой тряпкой, поднялся и пополз за своей порцией на щупальцах, на потерявших мускулы и кости вздрагивающих ногах… и пересилился и прямо поглядел в пустой и набиравший тяжесть взгляд Курбана, в спокойную уверенность, что он, Угланов, тоже нагнется и подставит позорную подрагивающую морду под кулак.

Курбан все тяжелее вглядывался в него и вдруг – заметив в углановских глазах что-то такое, что не устроило его, что не стирается, не гасится стандартной зуботычиной, – по-гусиному вытянул шею и харкнул студенистой меткой Угланову в морду. Угланов мазнул рукавом по горящему, каким-то наитием припал на колено, схватил, обрезаясь, за крышку консервную банку, налитую белым дрожащим свинцом, и единым, по скорости равным течению крови движением плеснул из нее все, что было, на толстую ногу Курбана… и закричал от прожигавшей боли сам – и видел ноги, которые забились с судорожной силой, и каблук, что, взрывая суглинок, прокопал борозду от ступни до колена длиной.

А потом он, Угланов, мочился в лекарственных целях на свою ухватившую банку и как будто с облупленной кожей-краской ладонь, и Курбан с корешами приходил его бить и пригнуть его мордой к воняющей хлоркой и мочою параше, но обрывы дыхания, электрический ток по зашибленным ребрам и соленый вкус крови у шатких зубов ничего не могли в нем, Угланове, выправить, возвратить его в прежнее состояние, место, сорвать и задавить в нем

распустившуюся – пускай еще размером с пламя газовой горелки – огненную силу. Его били пять дней, пока он на слесарных трудах не достал упрятанный за плинтусом трехгранный заточенный напильник и не прибил мясистую ладонь Курбана к верстаку – кровь брызнула из дырки, ударила в ноздрю, пробив до мозговых корней звериным ликованием.

Способ существования был продиктован: блатные кореша, чернильные наколки-клейма на предплечьях, внедряться через форточки в квартиры, запутываясь в бельевых веревках и тряпье и выгребая из комодов трудовые смявшиеся трешки… и вот тут в отдалении непредставимом, в Москве, в цитадели имперской науки заскрипели дежурные рычаги и колесики, запуская машину сезонных отборов, рассылая во все концы родины контрольные всесоюзной математической олимпиады для учащихся 7–9 классов, в республиканские столицы и таежные поселки, в специализированные школы с преподаванием предметов на английском языке и основных понятий жизни кулаками. Преподаватель трудового обучения Уваров, с огромными ручищами мастерового и обожженной багровой поролоновой мордой алкоголика, явился непонятно по какому случаю чисто выбритым, в похоронном парадном костюме и застегнутой доверху снежной сорочке и сказал: «Собирайся. Поедем с тобой в город, чемберлен». Он так всех называл пацанов – «чемберленами».

И была то запруженная автомобильными лавинами, то пустая на много километров дорога, безостановочное расширение исхоженного мира, который оказался только пустыней летней пыли для жука, для гусеницы по фамилии Угланов… Изумрудной патиной покрывшийся Ленин на полированном гранитном пьедестале среди площади, столпотворение одетых, как на праздник, восьмиклассников – со сведенными страхом наказания бровями, губами, коленями и глазами назначенных на заклание детенышей нерпы; идиотки беззвучно молились какому-то богу, возводя застекленные и необутые глаза к мозаичному куполу с изображениями сталевара, доярки, ученого, держащего в ладони мирный атом; идиоты с отчаянно-запоздалой жадностью жрали из раскрытых тетрадных и книжных корыт: отыскать там спасение – ну а вдруг это все, что уже изучили, совпадет с тем, что им вот сейчас зададут… тоже, что ли, все жили с рождения, как он, в пробирающем страхе не быть, оказаться отмеченными и отбракованными? Но вокруг хлопотали, вились, как пчела над цветком, над любым вот из этих явно оранжерейных детенышей педагоги и матери – матери, да, с «Буратино», с «Байкалом» в бутылках, с печеньем «курабье» в промасленных кульках, с шоколадными плитками… И увидев в упор, как дается все им, этим вот не покинутым матерями «нормальным», он почувствовал жжение в груди – нет, не злобу, не ненависть, а его просто снова не стало: исходящие от матерей теплокровно-живые любовные волны обтекали его, не ему предназначенные, и когда их позвали подыматься по мраморной лестнице в «аудиторию», он пошел не за грамотой и почетной латунной медалькой, даже не за возможностью взлета из ничтожества «в люди» (лифтом «в МФТИ без экзаменов», в НИИЯФ и Курчатовский, он про это тогда и не знал – что решается это «прямо здесь и сейчас»), а затем, чтобы сделать себя настоящим, живым, существующим.

Ничего не боялся и сразу увидел в вопрошающем рое, пчелиной сумятице приданных скоростей и приложенных сил – сошедшееся в стройное космическое целое и с ответом арктическое «все», записал, словно кто-то ему диктовал, и, не вытерпев, встал и пошел по ступенькам на дно, в котлованный провал – сдать задание первым. Корпевшие вокруг, терзавшие виски и прикрывшие ладонью от соседей свою тайнопись, словно невидимые огоньки церковных свечек, отчетливо страдающие вундеркинды глядели на него с презрением и ужасом, но одновременно – с догадкой, допущением: а вдруг! а вдруг и вправду он, «детдомовский», все правильно решил?

А к началу учебного года пришло приглашение в лучший в стране интернат для юных математиков и физиков. В неполные четырнадцать один он выломился из кирпичной предопределенности.

3

Монстра должны были пускать уже сегодня. И неведомо было, что захочет увидеть приглашенный на запуск президент, кроме стана-5000, еще, – обязательно ведь: «Ну а как живут люди?» Как живут многодетные матери, старики, ветераны и дети? На всю эту жилищно-коммунальную прорву Угланов бросил Сашу Чугуева. Губернатор и мэрия – что? Все решает сейчас на Урале «Руссталь», наполняет бюджеты, жилищные и дорожные фонды миллионами денег «Руссталь». Чугуев разрывался над подвижной, текучей, изменчивой картой металлургического города и области, все держал в голове: каждый метр аварийных домов и полезную площадь квартир матерей-одиночек, носился по закрытым на капитальный ремонт поликлиникам, перебирал, как врач рентгеновские снимки, инженерные планы и сметы могутовских строек: затянулось, срослось, восстановлено, не осталось полипов в желудке и каверн в продымленных, изношенных легких? Ну а это что за уплотнение в подмышке, новообразование в толстой кишке?.. И успел, успевал заварить все прорывы в магистральных могутовских жилах; оставалось одно – детский сад, «наше будущее», на тысячу детей могутовских рабочих детский комбинат, бетонный монолит, два этажа, построенный в конце шестидесятых, и зеленый и черный лоскут изначальной земли, на котором он сам, Саша, вырос; их водили с Валеркой сюда, мать всю жизнь – воспитателем… и полетел сейчас на улицу Литейную, в невозможное прошлое, в детство, что нельзя возвратить, зная, что ничего там уже не осталось, все построили новое, нет там больше рассохшихся деревянных веранд и железных скелетных ракет, каруселей, качелей, стало лучше, просторнее, чище, богаче, но все это уже не его – для другой уж могутовской поросли. Вот не то чтоб жалел он себя, свое срытое, смытое время, но на полном лету вдруг впивалась в Чугуева боль – боль за время, когда был всесилен отец, когда мама была молода и Валерка еще жег свечу с трех концов на свободе.

Машина с ровным бешенством летела по проспектам – такой же, как у всех в топ-20 «Русстали», вороной, сияющий рояльным лаком «Мерседес S-65», – обгоняя автобусы, грузовых мастодонтов, седаны, кроссоверы экономных, кредитных пород: стало много в Могутове только-только сошедших с конвейера и сияющих свежей лакировкой машин, на душу населения – не меньше, чем в миллионниках Новосибирске, Омске, Екатеринбурге. Стальное полотно, могутовский прокат стандарта ASAS-P летит по рольгангам, кроится летучими ножницами, состав за составом идет на заводы «Ниссана», «Фольксвагена», «Форда», «Рено» в Восточной Европе, в Калуге, под Питером, в забитом людской халвой Китае, обратно в Могутов, «по бартеру» – тысячи моторов японских, немецких кровей.

Автократор Угланов питался рекордами: «У меня каждый пятый рабочий – на джипе», в пресс-службе «Русстали» обучились подкармливать самолюбие хозяина, поставляя на корпоративный черно-бело-оранжевый сайт статистические отбивные и торты: «Длина холодного проката, произведенного „Руссталью“, равна 147 расстояниям от Земли до Луны и $^{1}/_{3}$ расстояния Земля – Солнце», «Могутовскими рельсами 24,5 раза можно опоясать Землю по экватору», а на самое сладкое – ткнуть в Карлов мост, отреставрированный под эгидой ЮНЕСКО: все железное в этой исторической кладке – отсюда и на двести лет с гаком – мое, на моей стали держатся Красота и История.

Да, Угланов был болен железной мегаломанией, и, летя по проспектам, по берегу неизменной реки, Саша видел повсюду всходы этой болезни: трепетание сварки в железных костях этажей, строй решетчатых мачтовых кранов от левого края до правого, котлованы, в которых ворочались экскаваторы, грузовики, и все это он видел сейчас и любил, как свое, – это было углановское, но и неотделимо его лично, Сашино, это было могутовское; он мчался

по своей, могутовской, земле, отделяя, как плугом свое от чужого, что лежит за пределами сталелитейного города.

То, что он чуял с ясностью все последние годы, не сводилось к кормушечному «навсегда ушел вверх» или «жизнь удалась», к земляному, кротовьему «у детей будет все». С первых минут зачатого Углановым могутовского роста он непрерывно понимал и ощущал, что исполняет чей-то замысел о том, каким он должен быть; что хорошо, так хорошо, как может, проводит волю этой вот земли; он понимал теперь, что у природы – может, Бога – есть свой замысел о каждом человеке: для чего он рожден, что он может построить, чему послужить, ты несешь в себе эту идею, как зачаток кристалла, и себя либо делаешь тем, кем задуман ты был, либо движешься вкривь, «не туда», дальше все вот и дальше от себя настоящего, прожирая задаток, «что вложили в тебя», превращаясь в урода, способного лишь испражняться и ничего, кроме дерьма, за свою жизнь на свет не произведшего.

На четвертом вот только десятке наконец-то он понял отца, которого не видел из брезгливого далека и презирал за «рабство», за обыкновенное: за мозоли, за соль, проступавшую вдоль хребта на рубашке, за разбитые руки вальцовщика, огородника, плотника. А отец просто знал, для чего он задуман, и вырастил этот самый кристалл, воплотил этот замысел жизни о нем настоящем, железном. И при этом всегда ведь твердил он, отец: «человек измеряется произведением», «ты скажи мне, какую ты машину построил и способен обслуживать, и тогда я скажу, кто ты сам есть такой», – выходило, что оба с отцом они понимали и чуяли каждый по-своему эту одну несомненную правду, не совпав, два Чугуева, только во времени, и разделяло их с отцом только вот это невозвратное, упущенное время, за которое Саша догнал в понимании отца; разводила их только неправда личных денег, богатства, которая начала выпариваться, как только Угланов смог платить всем старшим мастерам по 2000–2500 долларов… И как он мог, Чугуев, думать, что никто не понимает то же самое, что он? Как мог думать отец, что он, Саша, никогда не поймет его правды, не дотянется, не дорастет? А теперь, когда их завод снова стал стальным великаном, с осязаемой бесповоротностью начала продвигаться, сбываться отцовская правда, он, отец, теперь «точно уже» умирал, и впивалось в живот, сквозь пупок протыкая до чего-то, способного только завыть: никогда он не сможет теперь уже рассказать отцу, как он – хорошо, целиком – его понял, что давно у них правда – одна, остается он, Саша, с этой правдой, отцовской, жить.

«Рак – болезнь угнетенной души» – есть такое расхожее выражение, глупость, как и «инфаркт – болезнь неравнодушных», но у отца в нутре и вправду незаживающе болело за Валерку, нестерпимо родного, отлитого по могутовской мерке живучести первенца, настоящего мастерового, в котором, а не в Саше, конечно, он видел свое продолжение. И какие-то железы, клетки, телесные нити, отведенные в каждом для связи с родным и любви, стали перерождаться в отце, умирать – ежедневное кровотечение: не дождаться Валерки, не дождаться того настоящего, прежнего и сломавшего замысел жизни о нем настоящем, не просохнут от крови Валеркины руки… Это Саше казалось похожим на правду… Впрочем, как бы то ни было, у отца «нашли рак», как-то походя, буднично, «со среды на четверг»: обратился-то с жалобой на ломоту в коленях, на которых полвека прополз под клетями прокатного стана и, наверно, прополз расстояние, «равное 150 расстояниям от Земли до Луны» – пусть дадут для втирания какую-то мазь, раз в полвека железный обращался с какой-то суставной ржавчиной, а врачи заодно: «А вот это… со стулом?.. ага, с деревянным… а вот здесь нажимаю – болит?»

Девять лет от лишения свободы Валерки. Отец успел увидеть, как по углановскому плану творения ломами разбираются закоченевшие мартены и на места сталеплавильных ископаемых встают новорожденные сферические поды и купола электродуговых печей, это в него вдохнуло огненную силу, и восемь лет еще служил у черновых и чистовых клетей свою вальцовщицкую мессу, но и боль за Валерку, отрезанного вот от этого жизнестроитель-

ства, увеличила градус и жгла: жизнь продырявливалась тем, что она уже не для Валерки, происходит без сына, творится не им.

Жизнь дала отцу внука, Валеркину копию: будто смог он окликнуть, отец, вот того своего, из прошедшего, мальчика, и он тут же примчался, захлебываясь смехом, этот чистый, с живой водою в глазах, ничего еще не понимающий мальчик, разбежался с порога и влепился в огромного деда-отца, привалился и замер, дав почуять отцу силу тайного роста под чистой и крепкой изначальной кожей, и отец нагляделся, напился этой радостью пройденных ввысь сантиметров, отмечаемых химическим карандашом, ножевыми зарубками на дверном косяке, и вот эта по силе обновления ни с чем не сравнимая радость тоже скручивалась с болью в нутре: без Валерки растет этот новый Валерка, быстро вырастет и не узнает, отвернется, откажется от такого отца.

И у Саши, у Вики – в растущем, выпирающем куполом в мир животе – появился и зажил, словно за световые столетия отсюда, их маленький, а отец умирал: не увидит уже сквозь свинцовый наплыв, не почует своей крови – от Саши. Саша ринулся из акушерского центра в Женеве к онкологам – все решить, все купить, что возможно, купить, для отца – и услышал: «промедлили», «если бы раньше…», «операцией все не решается», и отец не хотел, чтобы вывели в брюхо кишку, не желал оставаться в кроватной трясине неподъемным, недвижным, потрошеным обрубком; оставалось – дождаться, убавлять наркотическим средством растущую в брюхе огромную боль и убавить последнюю в ту минуту, когда ничего он не сможет уже понимать (дед кричал перед смертью: покатился из домны огонь, затопляя весь цех, и ругался: дайте пику, багор!), и из огненной лавы, из отсутствия цвета и света, из-под сердца всплывет, размыкая спеченные губы: «с-сынок». И кого позовет он? Валерку? Может быть, и его, Сашу, тоже? Он хотел быть окликнутым, он хотел, чтоб нашлось напоследок у отца для него, Саши, место.

Подкатили к детсаду: от яблоневой рощи чугуевского детства не осталось ничего – на рыжем пустыре торчали только голые пеньки с давно ороговевшими, отполированными спилами. Оштукатуренные стены П-образных корпусов светились девственной охрой, панорамные окна полыхали на солнце, чумазые азиатские строители киянками вбивали в растворную основу плиточные пазлы. Главный прораб с кирпичной мордой и глазами окуня показывал дорогу, примчалась директриса с золотом в ушах: вот медицинский кабинет с массажными кушетками, спортивный зал с батутом, шведской стенкой и корабельными пиратскими канатами, вот бассейн, бельевая, а здесь у нас кухня… Чугуев застрял посреди отсырелого голого бетонного пространства и с бешенством разглядывал растущие из стен и уходящие в подвал гофрированные хоботы: это что? тут должны уже дети по кроватям сопеть, дети где, покажите. Провели в «групповую». Разномастные дети четырех-пяти лет, по четверо сидевшие за столиками, терзали вилками творожно-вермишелевую, с румяной коркой и кисельной подливой, запеканку – вмиг повернулись головенки с бубликами кос, жесткой шерсткой, сабельками вихров, во все свои полтинники, озерца, родники лупились на Чугуева, опустошая тайной, что же из них вырастет, что за будущий в них человек. И перестали его видеть, все головенки разом повернулись на что-то более важное и сильное, и «До свидания, Наталья Николаевна!» вперегонки рванулось, зазвенело из раскрывшихся клювов в потеках какао и творожных крошках: посмотрел – и хлестнула его по глазам незнакомая женщина… Как же он позабыл, что она тут всегда?.. Уже без белого врачебного халата, в синей вязаной кофте и джинсах, с зачесанными как-то по-старушечьи и собранными в узел волосами, Наташа шла к нему, Чугуеву, и мимо, прямо глядя в глаза и не видя: потеряла лицо молодого, начального, ежедневного счастья, первых дней нищеты, всемогущества, когда из мебели нужна двоим только кровать и денег им на все хватает и железных – когда на всё и всех смотрела будто сквозь Валеркино лицо, так, словно каждое мгновение они с Валеркой глядели в лицо друг другу ненасытными глазами; пустота ожидания сожрала, погасила весенний размах, но

никуда не делась режущая синь из этих глаз, что магнитила и вынимала дыхание из многих, из него вот, Чугуева, тоже, никуда не ушла из них та живая вода, просто стала другой, проводящей другое, выносившей со дна этих синих колодцев – постоянство терпения и страха за отсеченного тринадцатью годами и двумястами километрами Валерку: как он там, что там с ним могут сделать еще.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.